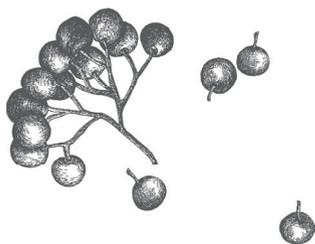


Татьяна Фроловская

Серафический
Восторг

ИЗБРАННОЕ



Алматы «Мектеп» 2022

УДК 821(574)-1
ББК 84(5Каз-Рус)-5
Ф91

Выпущено по программе «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела», по подпрограмме «Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

Фроловская Т.
Ф91 **Серафический восторг. Избранное.** — Алматы: Мектеп, 2022. — 336 с.

ISBN 978–601–07–1621–6

«Избранное» известного поэта и переводчика Татьяны Фроловской представляет читателю стихотворения и поэмы, входившие в книги «Дни календаря», «Зимнее воскресение», «Корзина земляники», «Семейное предание». Главные темы лирических и эпических произведений автора – природа, история, творчество, жизнь человека. Татьяна Фроловская, по словам поэта Петра Вегина, «... – истинный поэт, поэт по степени открытости не только своему лирическому герою, но человечеству, по силе поэтического голоса, не теряющего покоряющей женственности в самых сильных и напряженных выражениях, ее стихи высоки по уровню исполнения и по серьезности решения». Стихотворения последних лет составили раздел «Серафический восторг», завершающий «Избранное».

Ф $\frac{4702250206-020}{404(05)-22}$ 122–22

УДК 821(574)-1
ББК 84(5Каз-Рус)-5

© Фроловская Т., 2022
© Издательство “Мектеп”,
художественное оформление, 2022
Все права защищены

ISBN 978–601–07–1621–6

Имущественные права на издание
принадлежат издательству “Мектеп”

СТРАСТИ МНОГИЕ

Нет провинции духа. Дух живет, где хочет. Но как часто и он знает лишь свой шесток. И очень немногим в действительности удается преодолеть провинциализм мышления, интеллектуальных, культурных и духовных запросов и осуществлений. Поэт, переводчик, литературовед Татьяна Леонидовна Фроловская из их числа. Но эта очевидность с трудом осознается и сегодня, когда уже переиздана к 100-летию Льва Николаевича Гумилева её повесть-исследование «Евразийский Лев», успешно презентованная в Москве и Санкт-Петербурге, когда вышел блистательный памятный календарь «Так говорил Гумилёв». Когда мы знаем, что ею составлен календарь к 200-летию Пушкина, отмеченный премией мэрии Москвы; что многие годы она была участницей Пастернаковских чтений и ее выступления на этом представительном форуме составили известную книгу статей и эссе «Русская трагедия масок», вышедшую в Москве и собравшую заинтересованные отзывы пастернаковедов.

А начать разговор о ее творчестве именно с этого утверждения побудило меня воспоминание Татьяны Леонидовны о первом ее звонке в дом Пастернаков в далеком 1965 году, когда, оканчивая университет, она избрала темой своей дипломной творчество Бориса Пастернака: «В разговоре с сыном поэта я храбро попросила подсказки: «куда направить стопы. Неизменно доброжелательный Евгений Борисович был крайне удивлен: «Заняться Пастернаком в такой глубокой провин... ой, простите, периферии?!» Такое словосочетание ещё пару раз проскочило в разговоре. Уверенность, что моя филологическая стезя пролегает в далёком столичном городе, окрепла. Получив от Евгения Борисовича московский адрес и приглашение-разрешение «заходить», я отправилась в Москву».

СТИХОВ ОПАЛЬНЫХ РОЙ

Но поступала-то она на филологический факультет университета, по собственному признанию, с единственной целью: познать секреты литературного мастерства, изучать жизнь гениальных поэтов, чтобы уважительно подражать. Не текстам, разумеется, нет, – жизни в поэзии и преданности ей, – ведь она была одержима уже собственными стихами. И мир образов восемнадцатилетней поэтессы был далеко не ученический: «Вчера из печки



неба месяцем-ухватом // Мы чугунок со звездами выхватывали». И совершенно справедливо включает она свои молодые стихи в позднейшие сборники. Увлеченность Татьяны Фроловской Пастернаком («житья» без него я себе не представляла!) с первого прочтения в университетской библиотеке его книги «Стихотворения в одном томе» 1935 года издания, скрупулезное прочтение тома из «Большой серии «Библиотеки поэта» «постранично, построчно, самой себе подробно объясняя», сказывался и сказывается в сложном строе ее метафор, в усложненности стилистики, в культурологической оснащенности, в тяге к «вольности святой». Она была и остается в своей поэзии верным «птенцом гнезда Борисова».

Сказывалось это и в 1977 году, когда мне довелось впервые увидеть Татьяну Фроловскую на Первом совещании молодых писателей в Алма-Ате. Высокая, стройная, с густой челкой черных волос над яркими глазами, блистающая цитатами и неопровержимыми доводами в рецензировании чужих стихотворений, – она была в числе поэтов, ведущих семинарские занятия. В одном из своих недавних интервью о Льве Гумилеве на вопрос, может ли она, проштудировав все его труды, в чем-то оппонировать великому историку, она ответила: «А кому это по силам? Разве что в вопросах стихосложения...».

Приверженность опально-пастернаковской школе, интеллектуальной, «книжной», как тогда говорили, поэтике, темам высоким, «вечным», далеким от советской конъюнктуры, мешала выходу стихотворных сборников Татьяны Фроловской, появлявшихся в свет не чаще, чем раз в пятилетие. Книги «Дни календаря», «Зимнее воскресенье», «Корзина земляники» выходили с боем и весьма «пообщипанными»: «Благодарю за ощущение, За осложнение, опрощение, За критиков благодарю». С этим пришлось столкнуться, редактируя ее четвертую, наиболее объемную (почти «Избранное»!) книгу «Семейное предание» в издательстве «Жазушы». В те поры она была уже признанным переводчиком Фаризы Унгарсыновой, чьи книги в переводе Татьяны Фроловской выходили в Москве. Но право поэта на свой поэтический мир, на самовыражение в тех формах, которые ему присущи, все еще бралось под сомнение. Впрочем, был уже самый конец восьмидесятых, времена идеологических послаблений и вольностей, но еще не наступившей, по выражению Ивана Павловича Щеголихина, «тотальной цензуры денег».

Поражал круг поэтических интересов и пристрастий автора «Семейного предания», где философские стихи сменяются прит-



чевыми, фольклорными, где многослойность смыслов, яркость языка и оригинальность стилистики, когда «закодировано все, зашифровано», в расчете на подготовленного, посвященного читателя, спешит на помощь абсолютная прозрачность и ясность стиха.

А версификаторские возможности автора кажутся безграничными. Две маленькие поэмы – «Моление Заточника – сочинение Даниила, поэта и гражданина, жившего на Руси в XII веке», написанное по мотивам русских летописей, и «Горе-злосчастье», имеющее подзаголовок «Повесть XVII века», в притчево-фольклорном стиле, обращенные к русской истории, на самом деле, не в бровь, а в глаз попадают в нравы века нынешнего:

«Щепотка соли – да. Но ком – беда.
Ведь хитрецов на мудрецов облава
Вершится мимо Божьего суда».

И в обличениях Даниила, и в страстях о «блудном сыне», которого сгубило отречение от заповедей Божиих и отцовских, но который, в отличие от библейского, так и не дошёл в раскаянии до отчего дома, вневременные для поэта темы.

И все-таки главным нервом поэзии Татьяны Фроловской остается постижение природы творчества – к чему бы она ни обращалась – к русской, западноевропейской или казахской истории и фольклору, музыке, живописи, к переводам из Китса или Махамбета, к собственным родовым корням, к природе, – для неё важнее всего процесс сотворения – всего из всего: «Вдруг в неприбыльный поиск ныряешь с концом, сам, как русское слово, тревожен и волен». Потому у нее в фаворе и Заточник Даниил, и Гойя, и Китс, и Николай Бруни, и Чайковский, и Пушкин – ей интересен мир личностей, явлений, «из высших явившихся сфер». Ей хочется проникнуть в тайну и проникнуться страстью Демиурга, страстью Сотворения. И историю отношений Чайковского и Надежды Филаретовны фон Мекк, меценатки, акцизной помещицы в поэме «Страсти многие», которая вновь опубликована к её юбилею в журнале «Простор» (№ 6, 2013 г.), она пишет, прежде всего, как историю сотворения музыки:

«До наших дней от сотворенья мира,
От наших дней до самого конца».

Пишет, как она признается сама, небескорыстно, где-то в семейных преданиях прослеживается у нее с этой дамой родство. Но тут же, словно итожа цикл «Отечество странника» (стихи: «1863 год», «В Камбарке мать малину продавала...», «Моя вы-



мершая деревня», «Вольная глухомань», «Воспоминание о козе», «Вот домик-завалюха», «Подмастерье пророка» и др.), уточнит: «...я всегда, как бабушка и мать, стояла за крестьянство – не дворянство».

Создается ощущение, что в ее поэтическом творчестве «кормящий ландшафт» безграничен, она щедро берет горстями у всех веков и народов, «у одуванчика и лебеды», переплавляет, делает своим, признается в родстве. И ее литературоведение – это закономерное продолжение ее страсти к постижению тайны Сотворения. И здесь уж, действительно, дух живет, где хочет. Но перво-наперво, где всегда хотел жить и окормляться ее мятежный дух – это был Пастернак.

ЗАПРЕТНЫЕ КНИГИ И АВТОРЫ

Полувековой, по сути, «роман» Татьяны Леонидовны с Пастернаком имеет промежуточным итогом книгу литературоведческих статей «Русская трагедия масок» и очерк «Незабвенный Евгений Борисович», написанный к 90-летию сына поэта, его главного архивиста, подготовившего наиболее полное собрание сочинений в 11 томах. Хорошо бы обе эти ее вещи издать под одной обложкой. Потому что если книга, которую автор определяет как результат «одной, но пламенной страсти», – квинтэссенция постижения творчества Пастернака, то очерк – это и есть сам путь к нему, с того самого звонка его сыну в начале шестидесятых, пять лет спустя после смерти поэта:

Дом Пастернаков открыл духовные сокровища: архивов, книг, встреч, бесед. Она скажет о Евгении Борисовиче: «он опекает нас в космосе великой культуры». И признается: «Прошло немало лет, пока я с окончательной ясностью поняла, что больше всего на свете страшусь не оправдать доверия, огорчить непониманием огромности творческого наследия Бориса Леонидовича, непониманием величия подвижнической работы Евгения Борисовича ради полного признания поэзии и прозы Пастернака».

Здесь надо напомнить, что роман «Доктор Живаго», «на всю жизнь возвышенно пленивший и покоровивший» внимательного исследователя, впервые был опубликован при жизни Пастернака на Западе, автору была присуждена Нобелевская премия, за что он подвергся пожизненной опале в своем отечестве. И даже в 1987 году, к первым Пастернаковским чтениям, опальная книга еще не была напечатана, и как вспоминает Татьяна Леонидовна, о



ней решил говорить только Сергей Аверинцев. «Под запретом был «Живаго», но я тихонько скрипела перышком, полагая, что работаю «в стол». Именно тогда соединились для нее два «доктора»: «Доктор Фаустус» Томаса Манна и «Доктор Живаго» Пастернака.

Андрей Вознесенский писал: «Тридцать лет пропаганда наша... выдавала роман за политического монстра, за пасквиль против народа и революции. Кроме преступления против личности поэта, совершалось преступление против смысла романа». Апеллируя к его словам, литературовед Любовь Туниянц справедливо замечает, что своими эссе «Татьяна Фроловская эти смыслы романа открывает вдумчивому читателю». Более того, объемность взгляда и исследовательского постижения позволили в эссе, имеющими поводом роман «Доктор Живаго», рассмотреть литературное творчество Бориса Пастернака как неразрывную в своей цельности книгу, включающую и большую, и малую прозу, и лирику, и поэтический эпос, и переводные произведения, и письма.

«Читая «Русскую трагедию масок» и «Евразийского Льва», мы освобождаемся от мировоззренческой рутины, от обветшавших интеллектуальных воззрений, переосмысливаем многие известные факты», – заключает Любовь Туниянц в просторовской статье «Есть смысл задуматься о контексте», посвященной творчеству Татьяны Фроловской.

Двадцать лет работала Татьяна Фроловская над повестью-исследованием «Евразийский Лев», посвященной еще одному опальному автору опальных книг. Срок тюрем, лагерей и ссылок Льва Николаевича Гумилева – великого историка и философа, сына великих русских поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилёва, вылился в четырнадцать лет, между которыми он успел окончить университет, поехать в экспедиции, поехать на фронты Великой Отечественной и дойти до Берлина, защитить кандидатскую диссертацию. А докторских у него было защищено две. Но это не помешало в общей сложности на тринадцать лет отлучить ученого от академических изданий, в последний раз его труды были запрещены к публикации в 1975 году решением президиума АН СССР, запрет был снят лишь в 1988 году.

Лев Николаевич дожил до времени, когда его книги стали широко издаваться. К трудам великого евразийца стал обращаться и Запад, и Восток, его интервью привлекали огромное внимание, его лекции в Санкт-Петербургском университете посещали сотни и тысячи жаждущих познания. Довелось слушать лекции Гумилёва и Татьяне Фроловской. Это непосредственное



знание, это многократное обращение к трудам евразийцев-предшественников, это штудирование книг Льва Николаевича, это сочувственное и страстное проживание его личной судьбы и судьбы его исследований делает ее книгу о евразийском Льве книгой самого пристрастного писателя, рассчитывающего на столь же заинтересованное прочтение, результатом которого стало бы обращение к наследию Льва Николаевича Гумилева. Поскольку, по ее мнению, «заблуждения опасны, так как уменьшают количество истины на душу населения», особенно опасны заблуждения политиков, вершащих судьбы народов.

Эту просветительскую сторону книги, раскрывающую суть великих открытий и систему взглядов великого пассионария, в предисловии к юбилейному изданию, осуществленному Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева, раскрывает его ректор, доктор исторических наук Е.Б. Сыздыков, отмечая, что «Евразийский Лев» Татьяны Фроловской «свидетельство высокой преданности автора творческому, столь необходимому в наши дни наследию и замечательной личности Л.Н. Гумилева».

Кстати сказать, на юбилейной, 2005 года, Пермской международной пастернаковской конференции Татьяна Фроловская прочла доклад «Евразийское мировоззрение Пастернака», заметив, что контртема центрального замысла романа «Доктор Живаго» – «идея свободной личности и идея жизни как жертвы», лежала в основе философии евразийцев – «лучших и независимейших из эмиграции». Татьяна Фроловская написала о романе «Доктор Живаго» и его герое, что это для «средних деятелей, ничего не имеющих сказать жизни и миру, в целом, приговор». Такой приговор бездеятельной серости, по сути, несут и её книги о Пастернаке и Гумилеве. Надо ли удивляться, что в переводах из казахской поэзии она обратилась к личностям и творчеству мятежных Фаризы и Махамбета.

ДУХ МЯТЕЖНЫЙ МАХАМБЕТА

В 2003 году Международным клубом Абая в Астане к 200-летию Махамбета издана на русском языке его книга «Бренный мир». (Художественный перевод – Татьяна Фроловская, подстрочный перевод, составление и примечания – Ерден Хасенов). Осуществила этот замечательный проект народный поэт республики, лауреат Государственной премии РК Фариза Унгарсынова. Фариза



за, одна из первых в казахской поэзии обратившаяся к личности и творчеству Махамбета, посвятившая ему свою исповедальную поэму «Алмазный клинок. Три встречи с Махамбетом». Поэму эту перевела, как и одноименную книгу, вышедшую в издательстве «Художественная литература» в Москве, Татьяна Фроловская.

К обоюдной мечте – четвертой встрече с Махамбетом – осуществлению нового полного перевода его стихов на русский язык, они вместе шли долгие годы. «Чем же привлекают ее переводы? – пишет Фариза Унгарсынова. – На мой взгляд, резко выраженной поэтической индивидуальностью, соединением своего внутреннего мира с тем, что есть в стихах Махамбета, неприглаженным языком, оригинальным синтаксисом. Думаю, Татьяне Фроловской в смелом, любовном, бесспорно талантливом и бережном прикосновении к произведениям Махамбета, удалось многое».

Высокую оценку этим переводам дает и Ерден Хасенов, автор глубоких и высокопрофессиональных примечаний и комментариев к стихам Махамбета, пишущий, что они вместе «решали проблему вызволения поэта из лабиринтов шаблонных и трафаретных представлений». Полными энергии и страсти стихами передает эта книга несгибаемый мятежный дух Махамбета. Махамбета, который говорил о себе:

«Мне при рождении в руки вложен лук.
Сто тысяч стрел – моих надежных слуг –
Кого угодно обратят в бега.
Стихий неба, тучей грозovou,
Лечу, как ветер, точно хляби, вою
И молнии бросаю на врага.

Фариза права, в переводах этих есть главное – погружение в стихию поэта, совпадение с его внутренним миром – общий мятежный дух ведет их по жизни. Ведь и в своих стихах и в жизни Татьяна Фроловская – воительница:

«Не рыскать же тропы фартовой
Пред чёрной подлости лицом».

Она признаётся: «Мне не раз за истину пришлось в жизни заступиться». Сказано не ради красного слова – за этим признанием – конкретные человеческие судьбы и ее заступническое участие в них. Но – воительница потому, что есть обеспеченный тыл, есть человек, рядом с которым она написала:

«О счастье. Как оно мало!
Молитесь все, чтоб повезло
С родной душой соединиться».



При всем убежденном следовании своим магистральным избранным путем ее приятие жизни, литературы, культуры, искусства очень широко, и таким остается многие годы. Так, Пастернак вовсе не мешал Татьяне Леонидовне добросовестно и увлеченно работать секретарем народного писателя-натуралиста Максима Зверева. Делала она это еще и по-соседски. Но когда уже в наше время кто-то пытался высказаться о литературном несовершенстве текстов писателя, Татьяна Леонидовна тут же привела массу примеров неоспоримых достоинств Зверева, с чем спорить было трудно.

Большим помощником Максиму Дмитриевичу была Татьяна Фроловская в издании природоведческого альманаха «Лик земли». Но и сама она человек очень природный, и не потому, что ее семья уже десятилетия, убежденно покинув город, живет в предгорьях Алатау: можно пребывать в ауле и оставаться человеком сугубо асфальтовым. Ее природное чувство генетическое, не дающее ей оторваться от земли, наполняющее ее новые стихи, позволяющее ей «страсти по Живаго и доктору Фаустусу» вполне совмещать с живой жизнью, и с усмешкой сказать: «Вот какие я страсти веду в поводу За веревочку, полную чистых рубах!» И потому страсти многие, которыми обогащен ее творческий дух, которыми живет ее человеческая душа, не из тех, что отягощают, мельчают жизнь, а из тех, что наполняют ее высоким смыслом. И дух ее по-прежнему летает, где хочет.

Любовь ШАШКОВА



День рождения

Под шестикрылым серафимом
и огненной Серафимой
я закричала, видя мать
в отлёте, в родовой горячке –
война, жара под сорок пять,
все двигаются, будто в спячке,
но бьётся в огневице мать.

Горячка мне передаётся,
а шестикрылый не смеётся –
он, может, даже медный змей.
Есть аргумент, довольно веский,
его на вавилонской фреске
я встретила в один из дней.

От Лео Бог судил родиться
и Огненной, чтоб засветиться
на дне воды, в траве, в лесу,
хоть спрячься в выбитой пещере
по собственному предпочтению,
все у Врага, как сор в глазу.

Шестикрылатые драконы
со дня рожденья мне знакомы.
Духовной жаждою томить?!
И не подать простой водички!?
Торчу, как штырь, на перекличке
тоски и мифа.
Как избыть,
как одолеть предназначенья,
ведь я живу в пересеченье –
всё небо – хлябям водосток,
и пусть я глохну и немею,
свирепо целый век лелею
свой серафический восторг.





КАЛЕНДАРЬ

* * *

День торжества, день гнева, день утраты,
дни оттепелей, ледоходов, вьюг –
в календаре, но он упал из рук,
рассыпался и перепутал даты.

Летучий ветер разметал листки...
В погоню! Каждый день грядущий важен,
в календаре мотором год отлажен,
но нынешнему – месяцы узки.

Истории необратимый ход
рванулся вспять, и очередь открытий
не соблюсти – рассыпалось событий
на сотни лет, когда распался год.

Какой содом! Из окон и дверей
ввалились осени, предшествуемы мартом,
а я, прилежный ученик за партой,
твержу урок всех бывших декаблей.

Январь – славянам мёртвая латынь,
но теребят его июль и август.
Над всем декабрь – тысячеглазый Аргус,
как свод небес, крахмальнее простынь.

Год начался, начну его откуда?
Как остро врезан в память круглый год.
Всё собрано в стопу: и ветер непогод,
и счастья день, и радости, и чуда.

Октябрьская капель

Какое у месяца имя?
Не слышно горластых дроздов,
растопленный розовый иней
стекает с горячих листов.

Вослед разгулявшимся каплям
летит разрумяненный лист,



как древний пергамент, искраплен,
как юноша в помыслах, чист.

Он в луже – корабль, а на суше –
ковёр, парашют на весу;
шуршанье всё глуше и глуше
за тиканьем капель в лесу.

Закат в августе

Рассвет, предвидя с вечера,
торопимся за город.
Никем, никем не встречены,
мы поднялись на гору.

За той горой, над пропастью,
запутавшись в растеньях,
то с яростью, то с робостью
мостят пространство тени.

А в спину солнце пристально
из-под кровоподтёка,
из облаков расхристанных,
глядит отечным оком.

Минут в обрез отпущено,
работай споро, скоро, –
тень длинная опущена –
ночь с моста прямо в город.

За нею мраком благостным
покрылись переходы,
как струнки, стражи августа
у лета на исходе.

Вдруг оборотнем скатится
свет солнца с гор покатых,
и, наконец, прославится
обугленным закатом.



* * *

Ветви лунным светом озарены,
ветви терпким ветром разорены,
и земля черным-черна,
напоённая дождями.
Здесь последняя черта,
и любви мы не дождались.

Это осень – ветра стоны.
Всё ушло давным-давно.
Листья в озере не тонут,
не спускаются на дно.

Только звёзды зелены,
только холод – до луны.
Ни дыхания, ни ласки...
Может быть, ты где-то ходишь.
Ожиданием неясным
согреваюсь в этот холод.

* * *

Кривые зеркала – календари
скривили год, он стал неузнаваем
в бесчувственности к людям, хоть умри,
хоть брось его и бросься прочь трамваем.

Кривее некуда, но эта кривизна
в железной правде рельс неколебима
и постоянством мучит допоздна,
пока трамвай гремит неутомимый.

Год утомлён, он бродит у ворот
с корзиной фруктов и лицом убитым –
его уже завёл солнцеворот
в октябрьский день, в закат,
в расход, в убыток.



Октябрь

Накаркать рада старая ворона:
в колоде – красномастные тузы.
На деньги падкая, держи железный рубль.
Тварь, пережившая цыганского барона,
черней и горбоносее красы
неведанно, но карк довольно грубый.

Мне не пророчь, старо гаданье!
Свети прозреньем острых глаз:
на всех на вас ужо придёт зима!
Есть в красных листьях предсказанье
судьбы природы без прикрас –
от осени спрыгнет с ума.

Так спрыгнет старая ворона,
осыпав листьев крутоверть,
и вдруг ударят колокольцы,
вдруг разом побелеет крона,
где ей предписано сидеть,
сосулькой острой ветка колется.

Сума дорожная, осенняя тоска
и ведомое осени лекарство –
стихи – испито полностью,
но жажда новая близка –
нас кличет ветер дальних странствий,
сидит в трубе, поет о вольности.

* * *

Небо вспыхнет последней зарницей,
улечу перелётной птицей,
поднимусь в облака утром серым,
полечу на обветренный север.

А навстречу огромные стаи
улетают на юг да на юг –
мы с родной землёй не расстались –
ветры гончие не дают.



Как скажу вам, небесные пришлые,
вас судить не хочу я –
мне ведь тоже не спится под крышею –
я кочую.

Пастораль

Пастушок, пойдём отсюда
на лужок, где стадо в травах,
не страшусь, что люди судят –
сладкий голос твой – отрава.

Судят, кто любовью беден.
Завтра, рано помолившись,
в лес по ягоду поедем,
в лес по ягоду-малину.

Губы шепчут твоё имя,
изнуряет этот бред,
ох, ведь я твоя таима –
всей деревне не секрет.

Только я всегда одна,
мне с тобою не везёт,
пью кручинушку до дна,
а она меня грызёт.

Не боюсь, что люди судят, –
сладкий голос твой – отрава.
Потому пойдём отсюда
на лужок, где стадо в травах.

* * *

Не надо музыки, и так моя душа,
покинув глубь груди, трепещет в горле.
Но музыка вступает, не спеша,
и новых слов перерубает корни.

А в горле свищ безумных окончаний,
приставок, суффиксов старинных кутерьма –
смысл только в междометьях – укачают,
на волю вынесут, смахнув с пути дома.



Там тихоходность свищущего ветра
при музыке унижена вполне.
Как дирижёры, в ветре машут ветки,
и что ни взмах, то притча обо мне.

Я воздух пью одушевлённым горлом,
и гаснет спазм зовущих перемен,
и я при музыке почти покорно
на звук беззвучие дарю взамен.

* * *

Я помню, чей тогда был день рождения.
Войти в тот дом – установить число?
Семь лет не принимаю приглашенья,
чтоб не вернуть того, что пронеслось,
и не делиться с третьими тоскою.

Да, вспомнила, захлёстнутый водою,
стоял Васильевский. Напрасно он стоял, –
я не открою справочник погоды,
чтоб отыскать число и месяц года,
какой побыл, прошёл и всё отъял.

Да, вот ещё, в собранье братьев Гримм
трепещет розовый билет на поезд...
Мы столько третьих в памяти храним
и оттого живём не беспокоясь,
и не сосредоточившись. Легко
мне жить, когда тоска переносима,
когда я, ограждая твой покой,
к своей судьбе участия не просила.

Цирк

Я – собака, дважды преданная,
раз – тебе и раз – тобою.
Оттого-то я горько вою,
что собака – я, дважды преданная.

Если б только раз быть преданной,
я б ласкалась к твоим ногам,
перегрызла бы горло твоим врагам.



Если б только раз быть преданной,
я б, как бешеный пес, налетела,
чтоб ты понял...
Да, чтоб ты понял,
я бы зубы вонзила в живое тело,
чтоб и ты по-звериному выл от боли.

Я одна по-собачьи вою –
я – собака, дважды преданная,
раз – тебе и раз – тобою.

Тоска – кружок, очерченный циркулем,
ни конца, ни начала никто не помнит.
Только я служу в цирке
и всегда должна быть в форме.

Объявили, пора выходить.
Цирк, набитый под самый купол,
на одну собаку глядит.

Здесь последние нервы истреплют,
заставляют на задних лапах...
Лаять, лаять, лаять требуют
и не разрешают плакать.

Я заплаканной мордой –
к ближайшим рядам,
чтоб глаза разглядели...
Завыла искренне.
«Жалкая! Жалкая!» –
кричали там
и руками махали неистово,
не желая ближайшее видеть родство.
А середина, которая большинство
(никогда не настанет день их),
глаз не видя, а голос только –
заорала: «Верните деньги!»
А галёрка свистела и топала.

Я пролаяла всё, что хотели,
всё, что было им по нутру,
а потом поплелась в свою конуру,
чтобы сдохнуть в чистой
собачьей постели.



* * *

Твой поезд уходит, а я останусь,
хочу и останусь, возьму и отстану.
А ты уезжай. Пусть мою полку
кто-то займёт – не жалко нисколько.
Пусть даже рядом с тобой, пусть – верхняя,
не еду! Ты удивлён, наверное?
А я и сама... Даже нет причины,
просто подумала, и не хочется.
Не надо, громко не кричи,
лучше послушай, как ночь течёт.

Видишь, звёзды дрожат от холода,
мороз на сосульках играет Шопена,
Большая Медведица заплаканную морду
прячет в облачную пену.

И вдруг сквозь Шопена гудок завизжал.
Так я не поеду, а ты поезжай!
А я останусь с морозом и ночью...
Но знаешь, тебя немного жаль...
Ты оставайся, если хочешь,
а если хочешь, уезжай.

Пробуждение

Уже медведи из лесных берлог
ушли в леса на промысел о пище.
Как спится! Дождь по водостоку свищет,
и расползлись рубцы земных дорог.

Весной, в распутицу, куда нужней тепло,
треск дров и трескотня дроздовых песен;
крест-накрест звуки льют из поднебесья
гром с молнией, и дождь стучит в стекло.

Всю ночь трудилась первая гроза –
весны необратимые приметы.
Сквозь веки и века вошли предметы
в невидящие, спящие глаза.



Не оскорбляя чувства красоты,
был здравый смысл отвергнут и низринут,
о том степенно и соизмеримо
рыдали хором чёрные коты.

Глубокий сон владеет не шутя,
в нём образ мира не прошёл огранку,
не в срок горланит кочет спозаранку,
и солнце выпрыгнуло из дождя.

И ну – слепить, и ну – огнём гореть!
О, слепоты покой невозмутимый!
Пред слепотой бессильны сна картины.
Скорей, скорей проснуться, как прозреть!

Карманьола

Тоща, как фараонова корова,
присвистнет в лавке мясника старуха,
отвергнутый художник спит без крова,
а богатеи набивают брюхо.

В разлёт дверь и окна – приют бедняка.
Засовы, как выстрелы, – дом богатея.
Летит Карманьола, и бедность легка!
От страха маркизы в Париже потеют.

И флейта, и рог, барабан и труба
свистят и поют, и режут Карманьолу.
Довольно терпеть! Богатеям – труба!
Весёлая ярость прибавилась к реву.

Прыг-скок в ритме сердца,
прыг-скок, каблучок!
Богатство не прячь –
не надёжен крючок!

Карету – в клоаку!
Наш танец жесток:
«Умри, нечестивец,
среди нечистот!»



Уж аристократа
дождётся фонарь!
Прекрасная пляска!
Прекрасен трубарь!

За огненной пляскою –
факелов дым.
Легко голодранцам,
всегда молодым.

Мести мостовую,
чтоб танец не стих,
годятся наряды
парижских франтих.

Тюрьма на дороге
темна и глуха,
на вид, точно крепость,
наощупь – труха.

Ощупай булыжник,
решётки, запор:
в прах – серые стены,
чугунный забор!

В дворцах, где танцуют
гавот, менуэт,
под гром Карманьолы
разверзись, паркет!

А если вдоль серой тюремной стены
на казнь поведут без суда и огласки,
и если минуты уже сочтены,
отдай их немедленно яростной пляске!

Последняя милость встающего солнца –
слепить до слепящего залпа в упор.
Последняя милость живущего сердца –
гвоздикой взорваться,
в бессмертье ворваться:
взамен погребенья – гвоздики убор.



Рассвет и расстрел настигают повстанца, –
цепь грозных событий в коробке часов.
Но вечна стихия народного танца,
её не упрячешь в тюрьму, на засов!

В конце лета

Вчера из печки-неба месяцем-ухватом
мы чугунки со звёздами выхватывали.
Спелые! Их лускали, как семечки,
одни и с соседскими семьями,
и щедро швыряли обратно.

А сегодня на звёзды неурожай,
небо, как грязный снежный ком.
Скорым поездом лето от нас уезжает
на юг, далеко-далеко.

– Провожающие, будьте осторожны:
поезд отправляется с первого пути!
Дождик долго думал и завыл дорожную,
поезд всё скорее и уже летит...

А земля осталась на пустом перроне,
бедной слабой женщине тяжело в тоске –
слёзы вытирает обветренной ладонью
на сухой, потрескавшейся, северной щеке.

Осень

(Из Джона Китса)

Пора туманов, спелости плодов.
Созрело солнце и потяжелело
Вступает в заговор, чтоб с ним своих трудов
Земля для благодати бремени не пожалела.
И лозы в крышу хижины вплелись,
Плоды до сердцевины налились,
Упал орех – зародыш в скорлупе,
Набухла тыква, и на яблоках пыльца,
Прижались поздние сентябрики у пней,
Жужжат в них пчёлы – есть ли кто глупей;



Им кажется, что лету нет конца.
Кто выйдет из дому – тебя повсюду встретит
То беззаботной, пьющей с листьев росы,
То в житнице на земляном полу, где ветер
Растреплет жёлтые, как зёрна, косы;
То в полосе наполовину сжатой,
Уснувшей в маковом дыму. Твой серп тогда
Щадит полоску, засорённую цветами;
А иногда одну, без провожатых,
Бредущую неведомо куда
Через ручьи, где сонная вода
Едва колеблется последними листьями.
Весенних песен промелькнули дни, –
Как с музыкой своей ты тороплива!
Беспутны облака, беспутный день, гони
Бесплодые мысли над богатой нивой.
Хор трепетных комариков в рыданьях
Отпел тепло. Макушки лозняка
Отпрянули от вод и ввысь взвились –
Отсрочат ли минуту увяданья?
Задумчива в излучинах река,
В сбор ласточек, готовых в путь, вплелись
Малиновки и нежность, и тоска.

Нелюбимая

Ночь, точно плугом взрытая земля,
черна, влажна и в рыхлости борозд,
сплетаясь, разлетаясь и звеня,
просыпалась пригоршня спелых звёзд.

Но, даже не успев пустить корней
в надёжную разрыхленную твердь,
звезда закатится, и новый день за ней
придёт, чтоб снова быстро умереть.

И вот другая ночь уже светлей,
и день за ней длиннее предыдущего,
и весь в надеждах, а за ним больней,
ещё больней, невыносимо душная,
слепая ночь без звёзд и без луны,
и без тепла. О, как теперь оттаю?



Все миги лишь одной тоской полны –
ты улетел, как души отлетают.

Душа моя, зачем ты улетел?
В какую даль, в какое бездорожье?
Душа моя, должно быть, мой удел –
терпеньем лгать и согреваться ложью.

* * *

Бегу сквозь жёлтый парк прощаться.
Скорее, осень, возвращайся.
Всегда желанная, всегда.
На этот год твоя звезда
в печальный горизонт упала,
и я прощусь с осенним парком.

Роняет парк седые кроны
и ветви клонит на плечо;
и я от них впервые скрою,
как время быстрое течёт,
как долго ждать рассветов вешних...
Присутствием своим утешу.

* * *

Позднейшей осенью прозрел суровый Гамлет.
Нас до зимы не смог переучить.
Ему не встать, придавлен серым камнем,
и в снег от склепа брошены ключи.

Как странно уместилась осень в слове «Эльсинор»!
Пришла зима, в слова не уместилась,
сковала сном, и радость отступилась,
и бросила, с зимой не кончив спор.

Ты, радость, – бабочка, а белых мотыльков –
твоих врагов – миллион летит на землю.
Ты рада жить, но нет такого зелья,
чтобы избавиться от ледяных оков.

Дожить до солнца – вся моя нужда,
ключ отыскать в траве и бредить маем,



и лёгких крыльев шелестам внимая,
открыть, что радость и бесплотна, и нежна.

* * *

Подступил октябрь и раскинул табор.
Понагнали краденых жёлтых скакунов.
Пляски да веселье, да любовь, да тяжбы
с полоумным ветром под моим окном.

Может быть, сегодня там удалых режут,
да не поддавайся! Глаза не сомкни!
Кони красногривые скачут реже, реже
и горячим брюхом касаются земли.

* * *

Забуду, выйдя на крыльцо,
и всплески слов, и рук тепло,
твоё мятежное лицо
отсутствие заволокло.

И только выраженье глаз,
и только напряженье слов –
хоть брать с собой, хоть дома класть –
догонят яростно и зло.

Терзают душу, рвут покой,
разлуку удесятерив,
и плачут, как заупокой,
и не уходят от двери.

* * *

Голубка-тень на голубом снегу
чуть с солнцем врозь и мигом улетела.
Без тени мне скучно моё же тело,
ревнуя к солнцу, от снегов бегу.

Как снег красив, как в стужу одинок,
он звук весны снежинками нанижет,
но, кажется, что час его далёк:
так скован он, так мёртв, так неподвижен.



Тепло! Тепло! Вода, едва жужжа,
пробила брешь к побегу и разлуке.
Как пачки нот в горах снега лежат,
готовые преобразиться в звуки.

О, жертва снега! До исчезновенья,
не зная вечна, нет ли мерзлота,
всех погрузить в прекрасное мгновенье,
дарить восторг звучанья и движенья,
как виртуоз, играть весну с листа.

* * *

Горчит раздумье. В то, что я таю,
рябины горечь вдруг вписалась праздно.
Я ягоды незрелые жую,
чтобы соединить несообразно
их горечь и мою
и выплюнуть всё разом.

И глядя в мой перекошённый рот,
садовник к яви возвращает прозой:
– Ты потерпи до первого мороза.
Жду сладости рябинной, жду и вот
он грянул, он сковал, явившись вскоре.
Я снова жизнь до мелочи люблю,
морозных ягод жадно вкус ловлю
и ощущаю прежнюю их горечь.

* * *

На волю, за город, в широкие поля!
Забыться, царствовать, с ума сойти от счастья!
Но кто-то позаботился о нас
и обернул туманом, точно ватой,
хрустальное сознание, чтоб оно
не помутилось, охватив пространство.

Стена тумана в нескольких шагах,
как сладостно теряться на дороге
и находиться вновь. О, праздник встречи!
Со счёта сбились, повторяя праздник.



Как хорошо, что время целый день
совсем не двигалось и с нами отдыхало
от тиканья, полёта лёгких стрелок,
а вместо боя не было отбоя
восторгам сердца...

Путивльский плач

Ах, зачем ты, ветер, солнышко закатываешь,
мне опять сидеть весь вечер, загадывать:
или милый ходит по полю,
или милый бродит по лесу,
или милый плывёт по морю,
или милый давно помер.

Белым пологом снег по лугу.
Уж я каялась, уж я каялась,
как большую Каялу наплакала,
так стою над нею каменная,
и питаю её по капле.

Ой, Каяла – письмо моё горькое.
Я была красивая, гордая.
Где былая стать да гордость?
Над Россией старухой горблюсь.

Три холма, три креста в чистом поле.
Ветер сгладил и дождик полил.
Настрогали крестов с осин.
Намерзают кристаллы росы.

Утро

(Вольный перевод из Дж. Китса)

1

Покинуло солнце обитель свою на востоке,
На гребне горы запылало, казалось, сгорит.
И вдруг покатилося, согрело холмы и потоки,
И росы вернуло по тучкам, и их серебрит.
Распаханный клин весь туманною дымкой укрыт,
По мшистому руслу ручей кувыркается звонкий;



Он птицу, цветок и травинку водой напоит
И бросится в лес, и за речкой помчится вдогонку,
И в озеро с кручи – бултых да бултых безумолку.

2

Чешуйки у рыб разгораются, точно алмазы.
Они не мутнеют под тяжестью водных оков,
И вдруг помертвели, померкли, угасли все разом –
Вспорхнул зимородок – он ярче расцветкой боков.
Два лебедя белых плывут от живых берегов:
Один – вдоль кустов, а другой – мимо их отраженья:
Реальный слегка перепончатой лапой гребёт...
Зеркальный, себя, посвятив неземному служенью,
Царь-птицу пронесит сквозь это немое круженье.

3

Ни с чем несравнима гармония этого мира.
Ступая на остров, окутанный лёгким туманом,
Могу осушить слёзы горя шекспирова Лира,
Утешить Дидону, истерзанную обманом.
Здесь всё – совершенство гармонии, всё без изъяна:
И грусть, и свобода, и боль, и покой, и надежды.
А небо не верит моим ожиданиям нисколько –
Торопится, топится всей глубиной безбрежной,
И всех обнимает собою любовно и нежно.

4

Вдруг шёпот посыпался в пышную, зрелую зелень,
Лазурное озеро вздрогнуло и зарябило:
И шёпот, и шорох, и всплеск потревожили землю,
проснулась и шепчет, и шепчет склонённой рябине...
А та? По запястьям – рубины, рубины, рубины,
И вся, как на свадьбу, в бутонах невиданных роз...
У Флоры в ушах и на шее все камни грубы
В сравненье со здешним плетеньем живительных гроз,
Приливов, отливов, надежд, покаяний и грёз.



Донна Анна

Кто теперь прогонит пошлость?
Где твоя живая поступь?
Этим глыбам не шагнуть.
А с моею красотою
и с моею добротою
опущусь кому на грудь?

Кто поймёт, как стану плакать?
Спит мой друг во власти мрака.
Был бы ты ещё живой
и предсмертным завещаньем,
и оружием прощальным
оградил бы мой покой.

Как хочу я на погосте
стать твоею вечной гостьей!
Целомудрие храня,
всех живых тогда отвергнуть,
сохраня живую верность.
Ходит пошлость вокруг меня.

Леденящая ограда,
 удержи в пределах сада!
 Не удержишь, не взыщи!
 На дороге – след кровавый,
 то цветок измят бесславно,
 ждут дорожные плащи.

Твёрдость камня – не преграда
для возмездья, для награды,
не окончена игра.
И покойник, несомненно,
и любовник дерзновенно
взять хотят, а я добра...

Доброта хитрей коварства,
предавая постоянство,
принародно слёзы льёт.
Перед зеркалом упрямо
примеряет вдовый траур
и себя не узнаёт.



Декабристы

1

Стоял самоубийственный декабрь.
Сам порошил незрячие глаза,
сам тьму свивал
и сам пугал прохожих,
стучал жезлом в окно, где стол закапан
был воском, или с войска не слезал,
и как кузнец, ковал, ковал, ковал.
Но к декабрю весь жар души был прожит.
Равно теперь нам: раньше или позже, –
не ради пустозвона и похвал,
а гибель в декабре – бальзам,
пока присягу меж зубов не ткнули кляпом,
пока жена всё то же: «Боже! Боже!»
И всё про Петропавловки подвал...
Пока ещё не верится слезам
возлюбленных, омывшим нашу клятву.

Скорей, скорей, пока ещё... пока...
Служить из чести и свергать из чести,
и вдаль, и вдаль – во время и в пространство:
в бессмертие – в века, на смерть – в Сибирь.
Та явь от этой слишком далека,
декабрь и сер пока, да чёрны вести,
темнеют дни с завидным постоянством,
но близится к развязке страшный пир.
Спокойно спит поверженный кумир,
смешны предрассужденья вольтерьянства,
и тяжелы оковы царской мести,
опасна беспристрастная рука.
В чести чисты. Прости нам, мир,
дуэли, разговоры и гусарство,
прости нам непереносимость лести –
она страшней верёвки и крюка.

Наш колокол молчит – он безъязык.
Мы, поджигатели, напуганы пожаром,
нам не созвать народ на праздник веча –
мы только зов и вызов звонарю.



Услышат за морями страшный зык.
Вы, ближние, отбросьте страх и жалость,
хоть втайне сохраните человечность,
венчая поражение и зарю.
Нам должно поклониться декабрю,
он нас сковал и по этапу – в вечность...
К нам венценосец, на расправу жадный,
к нам каждый русский, как к себе, привык.
Разгром! Декабрь и мрачен, и угрюм,
а романтизм, как доктором, излечен
реальностью бездушно кровожадной
и замыслом, беспомощным, как крик.

Герои модных книг, герои дня,
наследники двенадцатого года,
покинули холодный Петербург –
пристанище на миг свободных мыслей.
Французской революции родня,
грядущих революций всех народов,
они вступили в свой девятый круг –
вглубь ада, что за тридевятой высью.
На рысаках трусдой, рысдой и рысью
идеи мчат? Грузить не хватит рук –
орудия ко времени не годны.
Один колодец горечи без дна.
Пришёл декабрь, и облака нависли,
и всё преображается вокруг,
играет из Прошедшего погода –
богата болью, красками бедна.

2

В этой жизни мы ходим околицей,
как иголки, снежинки колются,
оседают на влажные губы,
губят.

Осень кончилась ноябрём,
снег на голову, ходим в панике,
где мы листья теперь наберём,
чтоб украсить могилы памяти.
Снег сухой на руке сыреет,



так я греюсь в твоих руках,
потому что сереют, сереют
надо мной облака,
потому что снег напал,
потому что теперь декабрь.

Я хочу быть женой декабриста,
я с тобою все беды выстою.
Я же знаю наверняка –
революция недалеко,
революция впереди,
только площадь одну перейти.

Я всё видела, ты всё выстоял.
Почему ты тогда не выстрелил?

А теперь вместо бравых маршей,
даже если флагами машем,
слышу клёкот прорвавшейся крови,
обрамлённой в траур земли.
Ваш убийца не снял короны
у остывших могил.

Только вы не ждёте почестей,
и лишь мы, обездоленные одиночеством,
как никчёмные изваянья,
у могил ваших вянем.
Ничего не умея дать,
просто мы привыкли ждать.
Уж такая наша участь,
даже смертью нас не научишь.

Старый дом

Какой разнообразный скрип
у рамы, двери, половицы:
одна изображает хрип,
другая – скрипку, третья – птицу.

Дом здесь хозяин с давних пор,
стоит, заброшенный и ветхий,



и сборный птиц и дома хор
ввязался в шелест трав и ветра.

Он равен им, я им чужда,
но обживаюсь понемногу.
Поют. А мне что за нужда?
Что не пою? Так, слава Богу,

я слышу, вижу и люблю
старинный дом как часть природы,
и в сердце звуки накоплю,
чтоб петь в другое время года.

Когда, забыв мой дом, с пургой
умчится вдаль свободный ветер,
я тёплый воздух луговой
отдам, чтоб выжил он на свете.

И летом стал приютом птиц,
и наплодил такие звуки,
чтоб ветер, повалившись ниц,
оплакал прежние разлуки.

* * *

Приснился мне позеленевший снимок,
изображавший чёрно-белый лес,
снега не тронуты, и длится поединок
молчанья круч с безмолвием небес.

А по ущелью, где тропа витала
в такой же непорочный летний час,
снег хлопьями спускается устало,
скрывая стог и изгородь от глаз.

Ни от чего проснулась, только вижу
такой же снимок на моём столе
и сбоку покосившуюся крышу,
рябину в покосившемся окне.

И снег без удержу седьмые сутки,
без роздыха, не зная ночи, дня,
и между горок в тесном промежутке
чернеет шрамом свежая лыжня.



Вспоминая Алтай

Свежо, бело, а снег не пахнет снегом,
он пахнет хлором, операционной.
И вот меня на белый стол кладут,
чтоб удалить осколки Алтая,
засевшего, как разрывная пуля,
в руках, в ногах, в груди, в дыханье, в сердце,
и в памяти, и в зеркале души.

Душа пока что не принадлежит
к Алтаю – телу больно удаление –
с осколками оно срослось и свыклось,
но есть одно спасение от боли:
редчайшее и горькое лекарство –
белее снега белые стихи.

Из русской летописи

Агнец

В беззащитном одиночестве бьют меня, убивают,
нет у меня опоры, нет у меня будущего.
Я не помню, что было со мною.
Я – ребёнок.
Я не знаю, что со мной будет.
Бьют меня, убивают братьев наёмники,
как побили, зарезали брата моего – Глеба.

Нет у меня будущего,
нет у меня прошлого –
я сегодня ребёнок,
а завтра стану святым.

Зачем, матушка, родила ты трёх сыновей?
Зачем, отец, умирая, покидаешь ты один престол?
Зачем, Глеб, ты не старший брат?
Не бил бы ты меня, не резал,
как алчущий Святополк.

Я не хочу смерти твоей, Святополк.
Грешно желать родной крови.



Княже Святополк,
пусть не будет на тебя ни Божьей кары,
ни огня душевного,
ни ненависти,
ни совести,
ни скверны,
ни копья смертоносного.
А вы, убийцы, передайте всё это брату моему.
Не бейте меня, не режьте.
Дайте слушать русские колокола...

В церкви святого Василия

Как усобицы раздирают Русь,
так разорвана ваша жизнь.
Святость ваша помехой была
для управы русской земли.

Я не сват, ни свят, я – Святополк,
и дружина моя немалая.
Чтобы Русь от усобицы убересть,
чтоб врагов-печенегов прогнать домой,
я отцу своему клятву дал.
А и вам, братья, клятву даю:
вашей святостью Русь напоить,
Русь, свободную от любых врагов.

Плачу, плачу, братья, грущу о вас,
что так молоды, а уже в гробах.
Все мы отроду во святые глядим.
Раньше всех такая почесть вам.

Я годами братья старше вас,
думы тяжкие на моем челе.
Государственные дела
в мои руки отцом завещаны.



Проклятие народа

И колокол разбужен звонарём.
И просветил Господь пред алтарём,

И прыснул окаянный Святополк
от алтаря святого к печенегам –
на помощь звать с востока дикий полк –
позор прикрыть и запугать набегом.

Душа огнём горит и манит плаха,
и скверна свалит в смрадную кровать,
и совесть тяжче шапки Мономаха,
и Божьей кары – нет, не миновать!

Но хуже смерти ненависть народа,
когда не смеешь встать под сень знамён.
Предателей продажная порода –
без родины, без славы, без имён.

Сократ и Федр

Божественный Федр,
как жить надоело –
урод я, страдалец, никем не любим.
И старость, и глупость меня одолела –
на мудрость я лучшие годы убил.
О, как быстротечна и как одинока
лукавая мысль, что истина – Бог...
Есть множество истин. Одною глубокой,
безумной и жадной, я всё превозмог.
Та истина – страсть, жизнь в обмен на мгновенье,
та истина – счастье в обмен на запрет,
возлюбленных уст лишь одно дуновенье,
зовущим вопросам щемящий ответ.



Не кончена книга

Мужицкий бунт – начало русской прозы.

Д. Самойлов

Не кончена книга, открой и пиши
о том, как зимой бородач коренастый
в лесной, нескончаемой, тайной глуши
топор запасаает на случай ненастный.

Стихи, как мужик, – необузданный бунт:
нет логики слов у сердечного жженья,
и ритмы классичны, и рифмы все тут,
удар топора – и смешалось движенье.

Внезапная драма, неожиданный финал,
и тащит само, как разбойничьей ночью,
и, кажется, будто бы лошадь загнал,
желанье нагое без рифмы и строчек.

Поэзия вся – бесконечная драма
из русской тоски и желания жить
поэтом России, который по праву
умом – дворянин, а по слогу – мужик.

То жаждешь куражиться дерзновенно,
то в ноги народу свалясь покаянно,
болея за всех и страдая бесменно
о боли своей позабыть окаянной.

А вспомнив и выхватив свой топор,
удало пройтись по российской привычке,
покой возмутить, затоптать оговор,
вожжой удавить родовитых обидчиков.
И пепел по ветру! И пепел по ветру!..

Но тише! Молчите! Спугнёте врастаенье
в живую строку – слишком хрупкая ветка...
Пожара – душе! Дисциплины – восстанью!
И пепел по ветру!..



Иск уст

Непонимание, как пуля, ранит,
и не могу свести конец с концом:
кому твой лик, казавшийся лицом,
предназначается, кому раскрыты длани,
кому ручей восторженных речей,
где всё за гранью человеческой нормы,
где всё – размыв незавершённой формы,
лишь боль законченная в форме двух очей?

О, волшебство, о, счастье лепетать,
ещё не понимая, наслаждаться
и никогда прозренья не дожидаться,
и дух искусства тряпочкой латать...

Чем откуплюсь, когда ненастный вечер
вдруг недожитую отбросит ерунду
и призовет, и я к тебе приду,
и всё пойму с утратой дара речи?

О чём поёт дрозд

(из Дж. Китса)

О, ты, кто первым чувствует снега,
Чей глаз туман нависший различает,
Верхушки вязов, вмёрзших в звёздный блеск,
Молчишь, пока весна придёт легка.

О, ты, чья книга – тьмой рождённый свет.
Тебя питает свет, как время жатвы,
Ночь за ночь – терпеливо ждёшь тепла,
Молчишь, пока твоё не грянет утро –
Весна. А всё моё богатство – мудрость...
Зачем молчу без внешнего тепла?

Весна... Но всё моё богатство – мудрость.
Я вечер слушаю, который опечалит
Бездействием ленивым. Дрозд разбудит
Того, кто думал, что уснул навек.



* * *

Так захотелось быть похожей
на двух прохожих,
не похожих друг на друга,
на двух поэтов разных двух эпох:
один – юродивый, другой же – полубог.

Похожи, родственны, близки, неразделимы...
Хочу в той мере сосуществовать,
какой счастливые могли быть измеримы,
хочу подобием, как бабочка, порхать.

Ах, список иерархии родства
длиннее серпантиновой тропинки.
Из непредвиденного удальства
штампую я похожие картинки,
все, как печать, как капельки воды.
Хлоп – копия, ещё раз хлоп – близнец.
Хлоп – отраженье. Это полбеды –
беда, коль соответствиям конец.

Не ощутишь себя в потоке капель
и осознаешь: на тебе замкнулся круг...
Найдётся ль мужество без фарса, без спектакля
сей тяжкий дар не выронить из рук?

Английские подстрочники

Весь дом шуршит английскими словами –
у Джона Китса мы берём урок:
учитель совершенств, а всё не впрок,
он, терпеливый, трудится над нами.

Отложим совершенство на потом
и рамками сухого перевода
скуём его летящую свободу,
чтоб каяться в своих стихах о том.



Стеклодув

В наш великий век открытий
в надлежащей мастерской
стеклодувы с юной прытью
дуют в трубки день-деньской.

Нет обыденной работы –
с каждым днём нужней вдвойне
колбы, трубочки, реторты,
закалённые в огне.

Но один, как Пан цевницу,
держит трубочку у рта,
то он выдул чудо-птицу,
то волшебного кота.

Он – судья и соучастник
всех оркестров духовых,
он – коллега, он причастен
к духу, к звуку, к чувствам их.

Трубы, флейты и кларнеты,
саксофон и геликон
внятны парню – радость эту,
всю, вобрав, вернёт легко.

Презирая догму правил,
мысль далёко занесла –
он к отверстиям приставил
капли жидкого стекла.

* * *

Я всё с тобой проститься не могу,
такая боль вдруг в сердце поселилась,
ты мне чужой на этом берегу
и далеко... Я жду, а не бегу
с прощанием, прощением и милостью.

На вид я, кажется, спокойна и горда,
но бурею пощады разрываясь,
я жду, что ты уйдёшь, и вот тогда
я рухну на песок и разрыдаюсь.



Но более всего боюсь, что вдруг,
не дожидаясь твоего ухода,
меня свернёт непрошенный недуг
моей тоски и вечной непогоды.

Всё нет погоды для моей любви –
всё не летит и не зовёт остаться.
Лечу без рельсов в грохоте лавин –
лови меня, лови меня, лови...
Как скорый поезд пойман тихой станцией.

* * *

Живёт поэт: ни птица, ни трава,
ни Аполлон, чтоб одарить прозреньем;
его неповторимый угол зренья
снимают среднедельные слова.

Воскресных слов потребует душа,
при жизни о бессмертии хлопочет –
ему за семьдесят – свой мальчиковый почерк
он выпил из волшебного ковша.

Возлюбленный, какая благодать,
какое мужество, склонившись над бедою,
со дна её поднять ведро с водою
и только им одним и обладать.

* * *

Меня замучил пятистопный ямб –
он был замешан в таинство рожденья,
он всё при мне, подобно наважденью,
среди рытвин смысла, среди ухабов, ям,
эмоций, снов и вдохновенных бдений.

Его к позорному столбу – цепями,
и все сбежались к этому столбу,
он жёг нутро, а расцветал во лбу,
и столб зацвёл, и были мы сетями
опутаны и славили судьбу.

Он был один, нас было много-много.
Он был для всех учтивый педагог –



в него вместился шут и демагог,
и гений, ямбом взявший дар от Бога,
подозреваю, даже... Даже Бог.

Так кто есть кто? Кто Бог? Кто просто смертный?
Кто царь? Кто червь, что точит изнутри?
Кто судьи легкомысленных смотрин?
Чей молк живёт, чей многотомник мертвен?
Кто солнца свет, кто ответ тусклых ламп?
О, свалка риторических вопросов!
Бери перо, и пятистопно просто
увековечим пятистопный ямб.

* * *

Случилось так, живут в моей ладони
тепло дыханья, холод поцелуя;
и как бы ни сложилась моя доля,
рука стареет, но её балуя,
и холодит, и жжёт воспоминанье.

Не сдуть его с руки и не покрыть,
не отстирать его и не отмыть...
Оно бессмертно на моей руке –
несу его зажатым в кулаке,
ногтями в кожу впившись до стенанья.

Цыганку встретить как-то привелось,
взглянув в ладонь, она наобещала
на век вперёд, и всё мне было мало –
тем более, что всё уже сбылось.

Кузнечик и сверчок

(Из Джона Китса)

Поэзия земли пребудет вечно,
Когда и птицу солнечный удар
Сразит, когда одна прохлада лечит,
Вдруг голос прозвучит, как Божий дар –
Щебечет в травах маленький кузнечик –
Он самый главный, но подходит вечер,
Он тем уступит, кто горазд в ночи,
И в сорных травах до поры молчит.



Поэзия земли не увядает...
Когда зима унынье нагнетает,
Трещит сверчок за печкою в тепле.
Чем жарче печь, тем злее воев вьюга,
А речь сверчка напоминает друга,
Уснувшего в некошеной траве.

**Наверно, я – кузнечик,
наверно, вы – сверчок**

Я умоляю вас, сверчок,
живите здесь, а я уеду!
Запритесь прочно на крючок
и громко празднуйте победу.

Вы насверчали мой уход
из тихого покоя комнат.
Пройдет неделя, месяц, год,
и здесь меня никто не вспомнит.

И славно. Пусть никто теперь
не жаждет моего возврата.
Я перед всеми виновата,
но больше не могу терпеть

своей тоски по новым бедам.
А вы, как член моей семьи,
поймите: я побег земли,
откуда я теперь в побеге.

* * *

Живу одна, как сыч, среди стихов,
предметов, запахов и музык гениальных,
и в этом мире звуков идеальных
зачем их совращать сложеньем слов?

Зачем к слезам подмешивать слезу
и изводить сонетную бумагу,
и сердцем заячьим копировать отвагу,
доставшуюся гению в грозу?



Разрушен дом, – зачем белить фасад?
Любовь не остановишь словом бранным,
чтоб овладеть непостижимым правом,
блаженным правом слово взять назад.

* * *

О, суета, страшнее нет позора –
одни разрывы много-много лет,
и вдруг две строчки, возвращённых взору,
сложилась в неизученный предмет.

Зовут вернуться, сколько страсти в кликах.
Открытие века или декабря –
закладывать места в любимых книгах
оторванным листком календаря.

* * *

Пора, мой друг, пора...

Пушкин

Веселье кончилось,
умолкли соловьи,
пришла пора отчаянной любви,
борьбы за нежность, голос и вниманье,
пора тоски и жажды пониманья,
пора трудов. Пора давным-давно
знать мужество, когда в глазах темно,
и ты один сам у себя во власти:
сам матерьял и сам бессменный мастер.

Вблизи Елабуги

Гора, овраг, обрыв, обрывок храма.
Здесь где-то близко дух унялся твой,
и голос, безрассуднейший до крайности,
волок, волок и бросил пред тропой.

Взойти? Взглянуть, възыграть, возвеселиться.
Вдали библейский профиль промелькнул.
Вас много здесь: знакомые всё лица,
я к одному задумчиво прильну.



Я постигаю жизни смысл глубинный
вразрез с горизонтальным или врозь:
храм осквернён помётом голубиным,
и мохом профиль ангела зарос.

Но всё восторг – сплетение гармоний,
и вечности не пройденный урок.
Метаморфозам знойный день мирволил.
Мир мал и тесен – горизонт широк.

* * *

Мне хочется порисовать,
и я смогу, смогу, поверьте,
тоску раскрасить на мольберте
и тем навечно приковать,

чтобы, схватясь за нотный лист,
изобразить в одном аккорде
искусством взвинченную гордость.
А там – хоть рядовой хорист...

Когда я слышу соловья,
зовущего меня на помощь,
я помню, он и раньше в полночь
петь подговаривал меня.

И только взявшись за перо,
я ничего пока не смею...
Смеюсь и плачу, и робею
стихотворимую порой.

В зеркальном классе пантомимы

Захватила стена три стены,
и сама в этом вихре захвата
отразилась в тех стенах стократно
или больше – концы не видны.

Поединок скрещённых зеркал
затаился замедленной миной
и влетевшего чёрного мима
на сто тысяч кусков разорвал.



Но у мима разминка лица –
он забыл своё брренное тело.
Крылья носа – лицо полетело
в глубь зеркал. Победить! До конца!

О, гримаса – оружие мести!
Раз! – всадил отражение в гладь.
Зеркалам никогда не унять
взрыв эмоций, хоть об пол разбейся.

И бушует любовь и ожог,
смерть и смех, и младенческий ужас,
и восторг от скаканья по лужам,
и озноб от измены, и шок.

Откромсать! Слов словарь немудрён
у порога зеркального класса –
гениальна безмолвная пляска
осязанья пустот и времен.

От немногих, от тех пантомим
так немало рождается поэтов,
но всеильным словесным наветом
каждый мускул поэта томим.

Сыну

Я приведу с собой зелёный караван
холмов, навьюченных небесным лазуритом,
я принесу с собою солнца каравай,
полей бескрайних пёстрые палитры.

Я приведу с собою горных речек свору,
пусть по утрам янтарятся зарёю,
пусть лижут руки, пусть ворчат и спорят,
и пёсьи морды в колени зароят.

Потом я поплыву, зажав зубами
острей, чем лезвие новорождённый месяц.
Я жизнь переплыла не для забавы...
А месяц занесён кинжалом мести



над головою лютого врага...
Я всё это кладу к твоим ногам.
Живи спокойно.

Осенний день

Все десять лет, нет, двадцать лет подряд,
М-м-м, тридцать лет подряд приходит осень...
И долгие дожди о чём-то говорят
с бесчувственной землёй, разбившись оземь.

И осенью в мой дом вошёл поэт
какого-то не нынешнего века,
в нём не было особенных примет,
он был обыкновенным человеком.

Он в утешение печали внёс печаль,
томленье и тоску по совершенству,
и нас двоих двадцатый век умчал
на площадь боя и на площадь шествий.

Мой бурный век его не отучил –
во мне поёт его нездешний голос
среди восторгов и среди кручин,
среди лесов и среди пустыни голой.

Дождь в снег, а осень в зиму перейдут –
власть холода над нами неизбежна.
Родных ветров неутомимый гуд
над каждым звуком в простоте безбрежной.

Творец

Художник полюбил свою модель,
когда она пред ним стояла глыбой
в одеждах зимних и поверх – в плаще
с большим и неуклюжим капюшоном.

Рывком снять плащ! Он снял.
И под плащом она была не менее прелестна
в пушистой шубке. Шубу он снимал,
срывая петли. Далее шелка,



цветы и рюши прятали натуру.
Он срезал старомодные цветы,
убрал излишки складочек и кружев,
заузил юбку, подрубил подол.
Она была по-прежнему прекрасна
в простых одеждах. Был велик соблазн
снять всё. Он не противился соблазну
и обнажил ступни от башмаков,
от юбки – чресла, грудь – от лёгкой блузки:
всё – совершенство. Всё – изъянов нет.
Но стал художник думать о душе
с резцом в руках, и сыпалось трухою
живое тело – в камне нет души.
Он горевал – зачем остановиться
не мог он, прежде чем разрушил всё
разгадку, рукой окаменевшей?

В незавершённости есть совершенство форм,
уметь остановиться – вот искусство.
Тогда художник взялся за каркас –
железо гнулось одухотворённо...

Для полного счастья

Рябина под окном, а там сплошной покой
черёмух и черешен, и смородин.
Что мне ещё, когда во всей природе
ищи – не сыщешь тишины такой?

Учившийся у соловья с сорокой,
хоть некогда пропел седой скворец,
когда его скворчинный оголец
пытался вылететь из домика до срока.

Мне тоже два мучителя нужны,
не ощутившие усталости и боли,
оружие в разгаре сабельного боя,
в секрете от меня из-за глухой стены.

Цветов такой разлился аромат –
по густоте его и мыслей сдвига...



Что мне ещё? Живут со мною книги –
сокровища... Кто так ещё богат?

Но я спешу и парить, и варить,
кормить и ставить к синякам примочки.
Орущих во дворе с утра до ночи
зову мучителей, чтоб мучить и любить.

* * *

Вторгается лето в февральскую вьюгу.
А вспомнишь, давно ли?..
Да, очень, увы!
Давно-предавно мы сказали друг другу:
любви нет и солнца, цветов и травы.

Лишь снег холодящий, лишь ветреным смехом
когда дорожишься, не так одинок.
Кукуешь всю зиму, но, благо, не к спеху
кончатся зиме – всё обдумать есть срок.

И я наклоняюсь над пыльной страницей.
О, как пред собою душой не криви,
сухие былинки твердят небылицы –
мои оптимисты – и верят любви.



ЗИМНЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Ледоход

Река леденеет, а мы непричастны
к потоку, к морозу. А вздохи всё чаще,
всё глубже, всё горше и всё невпопад.
На круче в молчанье навис ледопад.
И мечется стужа в прибрежных лугах,
и снег, будто дома, залёг в берегах.
Где был мост?
Где был брод?
Кто дорогу разберёт?
Снег и лёд!
Сверху валит,
снизу жмёт.
Снег и лёд.
Ледохода! Ледохода!
Чарку от разлива рек!
Неподвижною колодой
мёрзнет в шубе человек.
Снег спрессован под коростой,
не идут по льду круги,
лёд в щербинах чёрной оспы —
я — сиделка у реки.

Когда начнётся оттепель?
Сказал скворец: «Теперь!
Кто ждал и кто терпел,
всем оттепель теперь».

Лёд треснул, наверно, пришло число,
и тронулась рукопись в трещинах слов.

Гимн весны

Сок древа чист, а замысел горяч,
но он внутри, снаружи звон мороза.
Зачем в груди моей родится плач?
Не отогреть дыханием берёзу.



Жду птицу. Где пернатый пилигрим?
А вдруг он дом отыщет на чужбине?
Услышит ли он зов родной земли,
вернёт ли травы лесу и ложбине?

Услышит – не собьётся ли с пути,
незримый компас так ли уж надёжен?
Я – дом родной. Лети, лети, лети!
Твой дом родной тебя дождался, ожил.

О, перелётный северный циклон,
зачем на птиц ты мечешь злые стрелы?
Они – углом, и ты летишь углом...
Закрой мне рот, но их пургою белой,
закрученной, как сети, не лови –
тверда земля под ними, страшно падать
и в клюве с красной капелькой любви
лежать без погребального обряда.

Но угловатые, навстречу злым ветрам,
туда летят, где бился клюв в скорлупку,
чтоб соком трав умыться по утрам
и горлом булькать, тоненьким и хрупким.

Сложив хрустальный гимн родной земле,
они преображают наши души,
и никакие возгласы извне
тот гимн души вовеки не заглушат.

Конкурс детского рисунка на асфальте

Стеше и Никите

На площади расчерченной рядком
сидят творцы в своих отдельных клетках,
и там же девочка моя – трёхлетка –
не думает, наверно, ни о ком.

Малиновое солнце лучше нас,
оно на серой мостовой проснулось.
Бесхитростностью детского рисунка
заворожён непосвящённый глаз.



Жюри идёт – Антощенко-Оленев,
он бородат, величественен, строг,
его меньшей взбирался на колени
к отцу лет пятьдесят тому... Урок

художника теперь бескомпромиссен
(за ним призы нехитрые несут),
о, сколько сам он пережил комиссий,
но деликатный – самый страшный суд.

Рисунок – не подобие игры,
здесь конкурс, здесь – лиха беда начало.
Где есть крупница этого – причала
нет – безмятежной не ищи поры.

Открыта книга старую главой:
вы неповинны ни в каком искусстве –
в двух ваших клеточках почти что пусто.
Хотите розог славы? Боже мой,

ведь это я вас привела сюда.
Я, одержимая своим воспоминаньем,
хотела с вами поделиться знаньем
о наших безмятежнейших годах.

Мы все асфальты расписать в цветы
могли куском кирпичного обмылка –
нас взрослые хвалили слишком пылко
от всей послевоенной доброты.

Малышки милые, порядок рушит сны –
он не щадит и самый нежный возраст.
Какой искусством отягчённый воздух
навис над парком в лёгкий день весны.



Мой город

То город вещей снов – Алма-Ата

В. Луговской

Приникла к окончанию степей
у самых гор возникшая станица,
опутанная кружевом ветвей,
поэту снилась, точно небылица.

Мой город явен. Вижу, как за ним
цепями гор весь горизонт окован –
бессонный город вовсе не таким
романтику явился Луговскому.

И тех, кого забросило сюда
бомбёжкой, оркестрованной погоней,
встречала зелень улиц и вода,
и тишина, и видимость покоя.

По Кирова есть дом, где Эйзенштейн
сидел над рукописью ночью поздней, –
на стены, стол, отбрасывая тень,
из новой серии ему являлся Грозный.

И музыкой Прокофьева звуча,
трагедия замешивалась густо,
и не было другого к ней ключа, –
одно вторжение войны в искусство.

Сергей Прокофьев сложным языком
музыки перекладывал Толстого.
Война и мир входили в каждый дом
и требовали языка простого,

Такого, что искусству не дано –
неузнаваемое будоражит...
И город полонил собой кино,
входил в стихи, в кантаты, в репортажи.

Мой город далеко в ночи светил –
ему судьбу доверчиво вверяли,



все, все, кого он щедро приютил,
его собою одухотворяли.

На каждой улице его жила война,
доныне тот печальный след хранится –
он с памятью, глубокою, без дна,
не спит ночей над свежеею страницей.

Нечернозёмная Россия

Агитпоезду «Ленинский комсомол»

Николо-Берёзовка, Масляный Мыс,
изгиб древней Камы, безоблачно синей, –
довольно на жизнь, если есть одна мысль
о Родине – Нечернозёмной России.

Другой для сравнения не сыщешь земли.
Как это похоже, как то непохоже!
Нас годы по свету несли и несли –
всё пройдено – мир, как всегда, не исхожен.

Я сердцем готова омыться в слезах,
и пройденное выступает так ново,
когда возле плуга под Пермью казах,
курносый, раскосый, роднее родного.

Мы где родились? И куда занесёт?
Зачем из-под ног выбегают дороги?
Серебряный поезд по свету везёт
однажды – и вечно: единственных – многих.

Огромна Россия прекрасных людей,
и верится зовам обещанных странствий;
а бабы ещё нарожают детей,
и всем хватит солнца, земли и пространства.

Серебряный поезд, ты где там без нас?
Ты не в тупике? Не стоишь на приколе?
Ты – дом наш недолгий, ты – свет наших глаз,
ты равен отпущенной жизненной доле.



И мы затвердим твой суровый урок,
чтоб жизнь и в дальнейшем текла без поблажек,
мы на перепутье российских дорог
отыщем свой путь, но не тот, что поглаже,

а тот, при котором эпитет «прямой»
стоит на законном проверенном месте.
Зови нас – вернёмся, как будто домой,
чтоб трудности времени вынести вместе.

Зимняя степь

Ни разъездов, ни встречных вагонов,
ни дорог, ни лесов, ни дымов –
только ветер летит – будь здоров –
вдоль равнины весёлым обгоном.

Воскресают под снегом поля;
на аул среди поля наедешь
и такое бессмертие встретишь, –
снег вздымая, вздыхает земля.

Здесь не густ населенья процент,
потому на заезжего гостя
ласки сыплются щедрою горстью
и очаг затевает концерт.

И зимою обветренный юг
согревается тёплой беседой,
собираются в доме соседи,
создавая особый уют.

Это дом наш, казахская степь,
это долг наш великий и кровный.
Не пугает ни климат суровый,
ни забот непрерывная цепь.

И когда посреди холодов
снег с песочком несётся навстречу,
вспоминаю тюльпановый вечер
и верблюжие лунки следов.



Не прожить мне счастливого
дня без земли, самой первой из встречаемых, –
среди непреходящих и вечных
большей ценности нет для меня.

Зимовье

1

Невыносимо зимнее бесснежье,
дожди, дожди – обвисли провода,
и вязнут лошади в грязи кромешной,
не дотащив изношенных телег.
Желанные спуститесь холода,
кристалл воды, но не сама вода,
чтоб твёрже льда и холодней, чем снег.

Всё снега нет – дворовый пёс намокший
не лает даже на соседних псов,
и сизый лес, щетиною обросший,
не обещает ни грибов, ни ягод,
и только ночью гоготанье сов,
и водяных веселье голосов,
да волчий глаз горит в окне, как яхонт.

И мне – в привычках косной горожанке –
не по себе полночи со свечой,
потом полночи дождь над ухом шамкал –
старик слезливый, знает, что не ждут
меня совсем, – есть поболтать о чём! –
к стеклу прильнув, моё письмо прочёл;
мы письма шлём – к нам вовсе не идут.

Но как бы я оставила деревню
всю чёрную – меня бы этот вид
в покое стен извёл тоскою древней.
Я здесь дождусь – зима уже грядёт,
издалека сосульками звенит,
снег выпадет и светом осенит –
побелкой пахнет утром в лужах лёд.

Что это – день? Светлынь? Который час?
Стучится пятый час минувшей ночи.
С чего рассвет так ранью озабочен,
вскочил, беззвучным кулаком стучась?

Уснула я уже декабрьской ночью,
проснулась белою от снега и луны –
зима под снег зарыла валуны
и на штaketник накидала клочья.

Пора мне в путь! Давно пора мне в путь!
Но как бы я оставила деревню?
Бревенчатую под фатой царевну
не в силах я отъездом обмануть.

Что я мечусь, чего ещё я стражду?
О, безответных писем балаган!
Не сторож я ни лесу, ни лугам –
они при мне незыблемые стражи.

* * *

Зачем рвалась приехать в Ленинград?
Чтоб на задворках старого вокзала
жить в поезде и выше всех наград
ценить ту нить, что нас не повязала?

Ценить разбег невысказанных слов,
провидеть всем словам сопротивление
торчащих, неприемлющих углов
чужой души, знакомой с сотворенья.

И плакать безутешней старых крыш,
зачем любовь пропала безвозвратно,
что, не принадлежа, принадлежишь
прожитой жизни, но невероятной.

Гляжу на мир с высокого моста:
как струи, рельсы потекли стальные,
и потянулись за верстой верста,
и заверстались годы остальные.



Один-другой, но нынешний не пуст,
не удостоенный живого слова
свирепый выплеск изнурённых чувств,
едва задуманный, уже не новый.

* * *

Без печек холодно в домах,
электрорадиаторы не греют,
когда дымы из труб по ветру реют,
велик вселенского тепла размах.

Сообщники бездушной трескотни
снега объяли, соблаговолили
нас осенить и крыши завалили,
прославив ночь, укоротили дни.

Как ощутимо праздничной зимой,
что коротки деньки, и век отпущен
короткий, но за вечностью бездушной
об этом позабыли мы с тобой.

И оттого, что предназначен мне
один с тобою мимолётный вечер,
продлился миг и стал велик и вечен,
явившийся во всей голубизне.

Ведь там, где вечера всего длинней,
на севере, где ночь крадут рассветы,
где не тревожат мелкие наветы,
тоска по царствию любви всего сильней.

* * *

Не объяснить преображенья
тональности снегов в мажор,
в уме холодное брожение,
мой белый лист – лишь продолженье
холодных законных штор
и бесконечного движенья.

Так летом я сама кружусь
в окне зелёном, точно омут,



снег вызвал сладкую истому
и сказок бабушкиных жуть:
там черти водятся и стонут,
но я с чертями не вожусь.

Стекло зимой – средневековый
витраж – в нём радуга горит.
Никто меня не укорит –
я счастлива, что есть оковы,
что дом мой в снег по крышу врос:
в непроницаемых сугробах
запутался в знакомых тропах
богатый гость наш – Дед Мороз.

Как половица, снег скрипит,
но тут вступает тема печки,
и в дыма чёрные колечки
просунув ветви, роцца спит.

И вот уже не слышно скрипа,
огонь сиреною гудит,
утроба печки хлеб родит.
В настрое хлопанья и хрипа
шкаф, как оркестр, духовой
огонь вбирает даровой.

Огонь зажжён, в снегу не жалко
помёрзнуть. Мальчик у ворот
горбатую снегурку палкой
огрел и насмешил народ,
а снегу замысел не ясен:
он – плоть, материал – не свет,
и снежной бабе толстомясой
в снегурочки возврата нет.

Безмолвный спутник на прогулке,
замедленно кружится снег;
где был увал с пещерой гулкой,
он веселится тише всех.

Здесь с безупречностью Шекспира
был осенью разыгран «Лир»,



и кто здесь только слёз не лил,
но снежный занавес полмира
холодной тишиной накрыл.
И вместо дисгармоний духа –
геометрический узор,
и соразмерность тешит взор,
и тишина ласкает ухо.

В угоду любящим снегам
туманом солнце принакрыло.
Срок выйдет, выскочит Ярило,
растопит всё, раздаст лугам,
упьётся с ними, так и знай,
и с птицами затеет ссору:
снег под забором без призору
так с музыкой и помирай!

Но есть всему своя минута –
зима – не холод бытия.
В сугробах новый день меня,
как музыку свою, запутал.
И снегопад перебежал
закату славную дорогу,
тропинкой робкой понемногу
он отступил, и сумрак сжал
пространство дня над самым кратким
декабрьским снежно-пыльным днём...
В перчатке проношу украдкой
строку синеющую в дом.

* * *

Во странничестве умиротворён
Гарольд просёлка в плащике потёртом,
твоя душа провинциальным чёртом
заброшена в пространство без времён.

По ходу дела сочинилась драма:
я с карточкой твоею не живу,
лицом в простой оправе не зову –
свободною стоит пустая рама.



Но и она изряднейший предлог
поговорить с тобой до исступленья,
до помертвения, до наступленья
тоски о том, что долгие монологи,

что в памяти засели, заседают
десятки лиц из городской толпы,
что телеграммки тощи, голубы,
с моей тоски, как листья, опадают.

Из черт родных не соберёшь лица –
ты памятью не узнан и не признан,
и брезжащий ночами бледный призрак
гоню, чтоб не накликал он конца.

Питер Брейгель. Зима. Декабрь.

«Зима, декабрь, масло, Вена».
По щиколотку выпал снег.
Как с каланчи, весь мир,
как на ладони.

Сегодня город пощадила мгла,
вчера его терзал лазутчик-ветер
и вывеску с добротной мукомольни,
шутя, оставил об одной петле.
Под серым небом лёд зелёный, –
наверно, зелень лета вмерзла в пруд.
Повыше неба серого кусок
обложен тучами, а город виден ясно:
с увала он сбежал во весь опор
и скачет в гору.
Снег на крышах выдал:
пристройки, скаты новых крыш толпятся,
толкаются, но жмутся друг ко дружке
и общею трубой пускают дым.
Зима. Художник обобрал декабрь,
как липку. Больше нечего и взять
с зимы. Однажды зиму написал,
и, кажется теперь, что подражает
зима картине – вот отличный вкус.



.....
Мне вспомнился Крása-Увал на Каме.
Тропинки в зрелой зелени круты,
ключ закипает, врос замшелый камень
в ольховый красный жёлоб для воды,
а пахнет снегом. Слышится глухарь...
Глухарь не в счёт – в лесу живут медведи,
лисицы, лоси, зайцы – их соседи,
и волки хищно рыщут, точно встарь.

.....
Зачем охотникам топтать воскресный снег?
За кем охотиться при копьях и собаках?
За что так праздник омрачать медведю
и рвать в клочки глубокий зимний сон?
Картина – наш неомрачённый праздник –
светло, смешно, и радостно, и грустно,
что впору рисовать хвосты собачьи,
восторг щенячий дать на первый план,
как сделал Брейгель Старший под конец.
«Зима. Декабрь. Масло. Вена»

* * *

Иссяк запас лирических сюжетов,
солдатик оловянный постарел
до моего рожденья, Боже мой,
верни его – безногого солдата...
О чём я плачу? Всё ещё об этом:
о ржавчине сидящих в сердце стрел,
о встречах, что случаются зимою
под страстный шёпот вьюги бесноватой.

Герань в окне, а дальше за окном,
за перекрестьем почернелой рамы,
крещёное пространство всё в снегах.
А мы, солдатик, стойкий оловянный,
не выбредем за этот окоём
узорных стёкол заревого храма,
налгавших всем, в каких ещё веках
несбыточной надеждой окаянной.

Ни плакать, ни страдать не станет пользы –
нас мучило по обе стороны



распадом чувств заснеженное поле.
И невозможно было превозмочь
моей любви необъяснимо поздней,
пророчеств, что бесчувственно дурны,
и холодности непрерывной боли
от белизны снегов, укравших ночь.

О ХЛЕБЕ

1. Бабушкин хлеб

Из городского магазина
приходит бабушка домой
и пахнет хлебом и зимой.
С мороза хлеб – подарок зимний.

Уже от снега вечер слеп;
лучи, как струнки под сурдинкой.
С непропечённой серединкой
мы ели пеклеванный хлеб.

И до сих пор грустим о том,
как входит бабушка с кошёлкой,
и хлеб хрустит горелой коркой
и замороженным нутром.

А бабушка? Всю жизнь она –
при хлебе, радио – о хлебе.
О хлебе – жаворонки в небе.
О хлебе – снег, заря, весна...

Спокойней с бабушкой в деревне...
Прошло немало зим и лет,
но не огрубевает след,
а все воспоминанья – кремни.

Коснись, и высекут огонь,
и в печке загудело пламя,
и бабушка, как раньше, с нами,
и вечный отступил покой.

Заходит, заглянув в окно
в последний раз, седое солнце.



Заиндевелое оконце
уже по-зимнему темно.

Полдома печка захватив,
разгонит мглу, разгонит стужу,
трещит, гудит, поёт натужно
свой хлебный трудовой мотив.

За хлопотами у печи
вдруг бабушка помолодела,
её омолодило дело –
на всё село хлебы печи.

Грустя на стареньком пороге,
я думаю, пошли бы впрок
и хлебный бабушкин урок,
и доброта её дороги.

2. Канон

Всё оркестровано в природе:
свергающиеся лавины и гром небесный,
но музыка подобной высоты
и даже звук воды хрустальный
стихает, заменяется, уходит,
когда поют жнецы другие песни, –
они прозрачны, ясны и просты,
нехитрый звук исполнен тайны.
Во глубине былых преданий
созревший колос шелестит,
звенит зерно – работы вестник,
выходят при любой погоде
жнецы, и в жатве испытаний
пот – соль земли в земле хрустит
весомей звуков легковесных.
Всё оркестровано в природе.

Родился ручеек муки
в теснинах мельничного камня,
на пыльной мельнице тепло –
о, песня жизни, песня хлеба!
В широкогорлые мешки
мука стекается до капли,
смиренно отступает зло –



дух хлеба над землёю крепок.
С отчаяньем живого в склепе
стучит огонь в печной заслон.
Пшеничная опара в кадке
подходит. Дело кочерги –
она огонь, как глину, лепит,
чтоб с верхней корочкой в излом
и с нижней, золотой и гладкой,
слетел, как сокол, хлеб с руки.

Под снегом чёрные деревья...
спокойствие по всей земле!
Испёкся круглый каравай –
горит, как солнце, жаром пышет.
Пока тепло на печке дремлет,
дух хлеба над землёю вей!
Сгорев, сосновые дрова
в капустный лист с обкладки дышат.
Кто хлеб поел, тот в поле вышел –
под снегом сорная трава
не спит, и зреет суховей –
в снегу работа руки греет.
Хлеб нас берёт и с нами выжил.
Мороз беспечный тороват,
и вот уже звенит капель,
и поле тает за деревней.

3. Хлеб войны

Ленинградские кварталы.
Тень военной зимней ночи.
Траур – кружево чугунно
на садах и на мостах.
Отрешённо и устало
ночь блокады смотрит в очи,
ночь плывёт единым гулом,
рвутся бомбы, шепчет страх.

Ангел смерти крысоловом
дует в дудочку, уводит
память – мастер он отменный –
даже память взять хотел.
Смерть иного срока слово.



С мёртвым телом сани бродят –
в катафалк зимы военной
запрягают и детей.

Запах хлеба входит с болью –
это жизнь – горька прибавка
лебеды и горьки толки,
и победы час далёк!
Небо щедро сыплет бомбы.
Жизнь в язык внесла поправки –
речь – от языка осколки:
«норма», «карточка», «паёк».

Полыньи пролёт чернилен,
и по Ладогe ни пяди
не пройти обозам хлебным
в первый же весенний день.
Но враги не осквернили
память. Вечна будет память.
Память городу целебна –
не иссякнет жизнь людей.

4. Конвейер тракторного завода

И лязг, и стук, и грохот, и гуденье,
гудок, свисток, звонок и грянул гром,
и вышел трактор – просто загляденье,
из цеха выплыл, будто из хором.

Предшественники время коротали –
сквозь сито небо сеяло крупу.
За ним другие следом грохотали,
проклюнув заводскую скорлупу.

Ещё до смазки, праздничный и чистый,
был трактор подражанием заре.
Привиделся мне «Ужин тракториста»
на вымощенном городском дворе.

И пласт земли ворочался над срезом,
тянуло в травы дикие прилечь,
машины, по камням гремя железом,
уже о хлебе заводили речь.



Март-апрель

В лесу пустуют гнёзда,
всему хозяин – март,
на небе, прежде звёздном, –
ни ковшиков, ни кварт.

Хоть звёзды не сверкали,
но в мартовском бреду
мы небом нарекали
пустую пустоту.

Вдруг птицы всей вселенной
от поля, до небес
великим заселеньем
разбередили лес.

Судили и рядили,
не предаваясь сну,
и снова проходили
голодную весну.

Комарики и мушки –
всё слушало капель,
и мялся на опушке
до выхода апрель.

Пока суфлёром в будке
в скворечнике скворец
не протрубит побудку:
«Ваш выход, наконец!»

Тогда апрель вбегает,
сорвавшимся с цепи,
и землю разжигает:
гори, бурли, кипи!

Плодись! Преображайся
разливом буйных рек,
травую наряжайся
и не старей вовек.



* * *

Я прилетела к вам издалека.
Лицо прорезали морщины старика,
и немощью сморённая рука,
как изваянная, лежит на одеяле.
Пока вы спали, сколько потеряли
любви моей. Ваш мир нематерьялен.
Так крепко спать! Никак я не пойму...
Растратчик, неподсудный никому.
В отсутствие хозяина в дому
(хозяин спал и, значит, не был дома)
брожу по переходам незнакомым.
В вас больше того, меньше homo.
Прольётся ли зелёный свет из глаз,
мне неизвестно. Я в который раз
вхожу в покой, чтоб добудиться вас,
нарочно громко шаркаю ногами,
не посетила ли во сне другая?
Вы мирно спите – я изнемогаю.
Я – гостя с дудочкой, послушайте меня,
проснитесь! Это – свиристели дня
прощально клёкчут, в дальний путь маня.
Я – ваша дочь, сестра, жена, подруга...
Тончает связь, и я уже за кругом
всех связей. И меня уносит вьюга
обыкновенной жизни за порог
чужого дома, где хозяин мог
предотвратить сумятицу дорог,
но он уснул и на груди замок.

Сенокос

Золотистые от девясила
впали склоны в золотой покос;
полосатость от косы сносило
наискось к дороге, под откос.
И от сена становилось душно –
так ли пахнет свежая трава?
Кашки, мяты, чабрецы подушно
ветер лапал, вялил, целовал.
Сапоги стоптать – пустяк, металлы



тут стоптались. Без машин с тех пор
косари совхоза «Алатау»
трижды в лето косят косогор.
Только смелые сюда годятся –
загребать лохматые валы,
как в перины жаркие, садятся
смельчаки из местной детворы.
Вжик – к дороге на сенных перинах,
съехали и на гору бегом,
а земля июльская парила,
и грозою пахло всё кругом.
Гром грозы скромней телеги тряской,
и спеша переместить валки,
едут дети, точно на салазках,
друг за другом, врьд, вперегонки.

До грозы свезли телеги сено,
женщины воздвигли гору-стог,
ливень землю заново засеял,
корни трав из почвы тянут сок.

Мартовский снег

Константину Кешину

Священнодействуют снега
в глубинной Азии без ветра,
ручьев нечётки берега,
набрякший влагой снег – до метра.

Никто здесь не предупреждён
о таянье. Зачем так рано
прибит снег к почве, пригвождён,
а март сбесился окаянный.

Так мартовский, так кроткий снег,
иди, как целая эпоха –
для нас ты – наш короткий век.
Живём, как можем. Может, плохо!

Быть может, бедно, но никто
хулой не смеет прикоснуться.



Когда ручей взбурлит винтом,
от спячки пятеро проснутся.

Наш сын, как солнце, конопат,
головка дочери чернеет.
Весна, весна! Кипучий март
чернит, белит, а сам синеет.

Дворняга – чёрно-белый пес –
всему причастна, зверь, а помнит,
её когда-то март занёс
в покой и бедность наших комнат.

Остались мы с тобой – снег нас
встречал, сводил, венчал, лелеял;
он – мартовский, убил и спас,
он – мартовский, разбил и склеил.

С собакой пятеро в дому.
Тех не считали, кто гостили.
Нам ли отказывать? Кому?
О, как мы без гостей грустили.

Был гость – он только за порог –
за пазуху засунул камень.
Он волен, сделал всё, что смог,
несчастный – он теперь не с нами.

Ах, жаль его! Весенний снег,
за шиворот, в сапог, в перчатку
не лезь к нему – ведь человек –
какой ни есть – один печален.

А наша крыша пусть течёт –
снег тает – он ещё не сброшен.
В просветах солнце нам печёт
весну из ледяных горошин.



Словарь языка Пушкина

Прикройте том! И без того сквозит.
Пусть Пушкин пребывает в переплёте
как чернозём черновика – в полёте
свободном немотою всем грозит.

Держите Пушкина за стёклами в томах,
по десять в пачке накрепко вяжите!
Хитёр – гуляет сквознячком в домах
и – был таков – ушёл, сбежал. Держите!

Без Пушкина – край ночи, стужа, мгла,
распад, разброд, и мрут слова безбожно.
Слагать стихи без Пушкина возможно,
но жить таким никто не сдаст угла.

* * *

Что ни ночь гроза над нами куролесит,
страшный тарарам в булыжных облаках.
Мир исхлёстан вдрызг безумьем околесиц,
говорильней струй, стоящих на кругах.

Точно на свободу вырвался затворник,
ходит дождь по лужам ночи напролёт.
Шастает по крышам шумный беспризорник,
сам не спит и нам покоя не даёт.

Утром зелень трав рассохоталась в очи,
клён Иван-дурак – зелёны рукава:
это снился гром от треска крепких почек,
с грохотом сквозь землю прорвалась трава.

* * *

Из-под гриба, из-под горы,
из-за ствола, из чащи леса
свидетели иной поры,
отмершие календари
ведут свой беспристрастный сыск,
а пьяный запах трав прелестен,
подол – в следах росистых брызг.



Нашёптывает лист листу
всё громче, яростней, бойчей,
как нас спугнуть, вогнать в тоску;
один листок приник к глазку,
и показался целым небом.
Бежать! Бежать! – позвал ручей
и перепутал былль и небыль.

Мелькают дни без промежутков,
текущий год бежит к концу.
Грядущий в календарных сутках –
стопа листочков бездной жуткой
лежит на краешке стола.
Нам нерастраченность к лицу,
нам бездна в год пока мала.

Бежать! Бегу! Куда? Из леса!
Где неподвластны волшебству
травы-травой и воздух весел,
где лёгкий звук нетрудных песен,
нас успокоит, усыпит,
служить заставит естеству,
обманет так, что просветлит.

Поэту

Я не могу писать, проходит ночь.
А не писать?
Я не могу и только...
Зачем они не объяснили толком,
что старость – Рим и прочая, и проч...
Бессонница, и нет тебя со мной,
исподражалась я, всю ночь латая
сапог испанский – узкое несходство.
Продли урок – побудь ещё со мной.
Пришедший Слава – он – она дурная
(я род попутала, чтоб не сказать: дурной, –
в порыве ревности, гордыни и сиротства).
И вот не ночь уже – жизнь коротаю:
то выйду в зеркале раскосая святая,
то грешница, косматая, седая,



раздавленная не своей виной.
А всё злодейка тщусь, зело пытаюсь,
копирую порыв твой неземной –
всех одарить, ничем не обладая.
На землю пред тобой не упадаю,
поскольку свойство падать ниже нас
тебе присуще.
Страшно это «ниже».
Твой полудетский голос (что я!) – глас –
щелкунчик и при этом чернокнижник –
из всех пустот исторгнул вещество
любви.
Куда теперь нам с ним деваться!
Кого любить?
Куда!
Куда мы с нею!
Лететь друг к другу, чтобы расшибаться
нелепой оболочкой, чтоб родство
ловить в прохожих?
Но ведь так ещё...
Ещё...
Уж некуда, а всё ещё труднее.

* * *

За ветром, ревевшим с особой досадой,
за полем и рощей, за домом и садом
ушедшее лето рыдало надсадно,
похоже на осень. Тоской обложив,

хлестали дожди, и земля размокала,
как сахар в стакане, страдать подстрекала,
и листьев опавших кривые лекала
свернулись, земли черноту обнажив.

В подвалах стояло соленье, варенье,
забыв материнских стволов озаренье,
и листья забыв, и траву, и коренья,
был вкус их испорчен приправой и лжив.

А голые ветки торчали по окнам,
как будто картины на севере блёклом.



От бледности этой всё в доме продрогло –
был дух в нашем доме живом еле жив.

Но горстку снежинок подбросил нам случай,
в печи затрещали колючие сучья,
в трубе домовой ожил с песнею лучшей,
и лето пропало, своё отслужив.

Зимнее воскресение

Шестого декабря стал сад неузнаваем,
а город, как всегда, дымился под горой,
и между городом и мной
протёрся сад, шагам моим внимая.

Кустов и поросли не стало, так легко
всё хрупкое снегами завалило,
и сад явил божественную силу
без подражателей и без учеников.
Он первороден – всё отдай ему:
плетень и речку, облака и горы.
Он самый главный – бесполезны споры:
что он постиг – доступно ли кому?

Я – сад, но мартовский; с отменным прилежаньем
весь дым упал в осевший рыхлый снег,
и каждый обнажившийся побег
юродствует и дразнит подражаньем.

А я – излом чернеющих стволов,
воплъ тонкой ветки, выносившей почку,
я – месиво открытой солнцем почвы,
я – крик души без звука и без слов.

Здесь почка – суть, всё остальное – фон:
к своим невгодам можно притерпеться...
Однажды сад с пульсирующим сердцем
в себя поверит, и начнётся гон.

Он зацветёт, но то – уже не мы,
декабрьский сад, мой первородный родич.
Мы – две картинки в красочной природе,
застывшие среди общей кутерьмы.



При музыке

1

Ночная бабочка ночами
летит в раскрытое окно,
приносит странные понятия –
уму неодолимый ряд.
Злой дух, владеющий ключами
к тоске и страху заодно,
почти без плоти, только платье –
насквозь двусмысленный наряд.

Из красных глаз на пекло лампы
метнулась жажда овладеть,
а трепет крыльев так задуман,
что мне несносен тела груз.
Мир законный в раме рампы...
И я хочу лететь, лететь –
пока нас утро не задуло –
беспечностью утишить грусть.

Зачем явился бледный призрак?
А может быть, она – душа
давно умершего поэта –
пришла за праздность попенять?
Свет слов переломала призмой,
и доброту его круша,
порядок заместила бредом,
что здравым не дано понять.

Но я больна, больна словами –
твой бред – бальзам от боли слов,
блаженствую, изнемогая,
наш заполночный стговор слеп.
Все логики давно сломались,
к утру зацвёл болиголов.
Душа – натурщица нагая –
стихий жилище или склеп?



2. К Меланхолии
(Из Дж. Китса)

Настойка волчьих ягод – не вино –
Глоток на берегу реки забвенья,
Когда страдание отведено
Устами Прозерпины, в упоенье
Прильнувшими к рубиновым устам.
Перебирая тисовые чётки
И вызывая серую сову
Из дремлющего чёрного куста,
Вы сотворяете молитву чёрту –
Не ангел грусти – призраки зовут.

Неполна Меланхолия, когда
Не плачет так, как грозовая туча,
Чтоб гром пугал и нежила вода
Покров зелёный на отвесной круче.
Лелей печаль об утренней заре,
О розах, о пионах облетевших,
О радуге, исчезнувшей в песке.
И если взгляд любимой отгорел,
Бессвязный гнев живее сердце теплит,
Погрязшее в её глухой тоске.

Пусть больно мучит смертность красоты.
Пусть наслажденье болью вас застанет,
Тенями землю пусть чернят цветы,
А собиратель мёда яд оставит –
Он нам дополнит сладость винограда.
Так в Размышленье втиснется мигрень,
Так бьёт Гармонию боль нездоровья,
Так Пресыщением горчит Услада.
Кто Радость знал, о, тот ещё скорей
Узнает Скорбь во храме Чернокровья.

3

Словами вычерпаны звуки Леверкюна,
нет музыки – слова, слова, слова
до музыки, сверх музыки, ликуя,
как будто бы они сама трава,

сама бездонность промысла о боли
и чертовщина в помыслах о Боге.

Безумие, что в чёрном переплёте –
тоска по музыке чернее чёрных книг,
поймав меня в силок на перелёте,
она на мне – пеньковый воротник.
Не силюсь вырваться, при ней услада – плен:
нематерьяльное предотвращает тлен.

Не тороплюсь дочесть и ощутить
дух пустоты в духовном совершенстве.
Как может гений с музыкой шутить,
я не пойму в сиротстве и лишенстве.
Шуршание страниц иссякнет скоро –
лёд тишины за коленкором корок.

Перечитать «Плач Фауста» нет сил
и кончить книгу не хватает духа,
но сумрак все тропинки оросил,
уход просрочен, ночь – во власти слуха.
Найду ли мужество узнать с приходом дня,
что музыка покинула меня?

4. К соловью (Из Дж. Китса)

В глазах рябит, как будто лист дурмана...
Чем я отравлен? Я не пил настой.
Вся жизнь – в расход! Немыслимым туманом
Опутан разум. Это за листвою
Ты пел о счастье. Значит, ты был счастлив?
Я чуть не умер в зависти к тебе!
Опомнился. За воскрешеньем следом
Я стал к великой музыке причастен:
Ты что-то оборвал в моей судьбе
И начал песней бесконечность лета.

Напиться! Дайте мне глоток вина
Из бездны погреба, сок Иппокрены
Кровь веселит. Пусть пузырьки со дна
По стенкам кубка убегут из плена.



Невозмутимо пляшут за рекой –
Вино – отмычка к бешенству природы.
О, пригород, о зелень! Пить и петь
И на душе неведомый покой –
Я захотел, испив глоток пурпурный,
Пропасть, растаять, сгинуть, умереть.

Уснуть, забыть... Свободным стать, как ты?
Не знать во mnogой мудрости печали,
Не ждать со страхом мёртвой глухоты,
Забыть, как нас заботы разлучали
С любовью, юностью, природою, с тобой,
Как старость отягчает сединою,
Как гаснет мысль, как остывает кровь,
И взгляд свинцовой тяжести с мольбой
Следит за жизнью, тяжелобольною,
Как изнуряет поздняя любовь.

Прочь! Прочь с пути мертвящее притворство!
Возьмётся Бахус – в пропасть занесёт,
Но я лечу зигзагом стихотворства
К тебе, дриада, – кто ещё спасёт?!
Как промедленье разума безбожно!
Но я с тобой, но эта ночь нежна.
Всё темнота покрыла дремой древней.
Без слёз дышать вселенной невозможно:
И звёзды, и ущербная луна
Невидимыми вплавлены в деревья.

Везде, везде во тьме бегут тропинки,
И пахнут расточительно цветы,
И слышно, как растут в полях травинки –
Я исцелён настоем темноты.
Не по сезону пахнет майской розой,
Бутоны-чаши, полные росы,
Боярышник в зелёных побрякушках.
Ночь видит: тянут рыльца туберозы,
И виноградник распушил усы,
Спит чутко лето – ушки на макушке.

Я слушал, я молчал, я был влюблён
В спокойствие без слова и дыханья.



У смерти столько ласковых имён –
Я звал её и ждал без содроганья.
Навек уснуть под пенье соловья,
Когда искусство формирует душу,
Исчезнуть в полночь без следа и боли!
Ты будешь так же, только без меня
Служить земному неземную службу,
Слагать высокий реквием покоя.

Так много тысяч безмятежных лет
Ты пел о жизни. Вот и я причастен...
К исходу ночи я, монарх и смерд,
Проник в гармонию. О, песня счастья!
Ко мне сквозь сердце Руфи песнь лилась,
Когда она среди чужого поля
По дому плакала. О, магия певца:
Земля спокойно утра дождалась –
Минула ночь, и ты умолкнуть волен –
С востока свет, как с божьего лица.

Покинут я! Весь мир благовестит
По мне – тобой покинутый вернулся,
Стал сам собой. Прощай! Прощай! Прости!
Как сладостно я ночью обманулся.
В полянах леса, в поле, за холмом,
В глубокой пропасти сияющего дня
Иссяк поток видений и звучаний.
Прощай! Но я не в силах знать о том,
Ты улетел, ты позабыл меня...
Уснуть! Не просыпаться для печали.

5. Утешение

Так прощай,
так прощай, мой друг!
И печаль,
и печаль мила.
Взмах руки,
взмах обеих рук,
и твой след
стужа замела.



Страшный дол,
страшный синий дол,
тёмен дом,
тёмен старый дом,
шепчет сад,
шепчет белый сад,
снегопад,
дивный снегопад.

Воскресенье воскресит,
вёсны светом напойт,
лето травы оросит,
в дырах осени наряд.

Погоди мести, зима, –
листья осени лежат,
как слетевшие слова,
только больше не кружат.

Выпал снег – мне выпала печаль,
помертвела, побелела даль,
расцвела зелёная тоска,
а весна с цветеньем не близка.

Точно белый голубь, белый снег,
пустоши земные замело,
надо мной кружится вьюги смех,
стужа разукрасила стекло.

Зимний лес –
на стекле,
синь небес –
свет во мгле.

Вечен зимний лес,
стужа на стекле,
только синь небес –
свет в кромешной мгле...



Простые люди

Ещё пред вами нечиста,
ещё повинна и ничтожна
за то, что так неосторожно
отверзла я свои уста.

Но от родной чужая речь
уже почти неотличима,
от критиков, что рвут личину,
лица не в силах уберечь.

Ещё затравлена враждой
и вся – отпор, сопротивление,
а в горле ком – стихотворенье
стоит и не залить водой.

Стихотворенье? Да о чём?
О том, что есть простые люди,
что каждую минуту буден
мне с ними горе нипочём.

О том, что их достойной стать –
быть может, лучшее призванье.
К чему другие дарованья,
когда и это нам под стать.

На севере ли ты продрог,
на юге грелся ли беспечно –
простые люди человеческой
пленяют сутью сто дорог.

В рабочих робах у станка
или в оранжевых жилетах
они стоят зимой и летом
свои полжизни и века.

У простоты и у полей
учусь любить и ненавидеть,
чтоб ненароком не обидеть
земли и всех, кто есть на ней.



Клянусь, вовек не изменю
простому нашему народу –
вдыхаю вольную свободу,
качаясь на его корню.

* * *

Белый реквием метели
заметает на века.
Снег застелет... Снег застелет –
будет вам земля легка.

За чертой небытия,
пред которой мозг бессилен,
мир студёный, синий-синий,
вырывает из огня.

Жизнь – горенье. Бой – горенье –
подвиг ваш войдёт в века –
сердца нашего биенье
вы несли в своих руках.

Тяжка матери утрата –
в глубине родной земли
неизвестные солдаты
все свои ей, все свои.

Тщетны зовы, лишь молчанье
за чертой небытия,
отогреюсь от печали
возле Вечного огня.

Подвиг павших будет вечен,
так, как вечен белый свет,
миром на земле отмечен,
памятью людей воспет.



СТРОКА ПРИГОВОРА

Поэма

1. Воспоминание

П о к о й

Сквозь тучу смотрит полная луна –
над бесфонарной деревней снег искрится,
и, накренившись, старая криница
глочет снег и кажется без дна.

И всё, что может скрипнуть и запеть,
перенимает снежную походку –
две яблони, два юные погодка
напряжены, чтоб кроной не шуметь.

Срывая листья, не щадила гнёзд
минувшая и ветреная осень,
тогда и лес к зиме обезголосел,
и снег упал на головы берёз.

Не сняв мохнатой шапки, пень-пентюх
встречал конец ночного снегопада,
в рассветной тьме затеплилась лампадой
труба печи, и свет луны потух.

Заиндевелой мордую в мешок
с овсом уткнулась впряженная лошадь,
дед в валенках, в берестяных калошах
присел на сено, трубочку разжёл.

Лошадка, мерно хрупая, сопя,
жуёт овес. Вдруг песня спозаранку –
под стрехой зимовалая зарянка
нежданно обнаружила себя.

Зверям зимой в лесу несладко жить –
им бывший мельник возит соль и сено,
снимает торбу с лошади, уселся –
не спех! Куда и лошади спешить?



Хруп, – с влажной морды валится овёс,
и мигом желтогрудые овсянки
слетелись, и пока не скрипнут санки,
клюют. Вот тихо-тихо сена воз
в заваленную снегом вполз дорогу
и, набирая скорость понемногу,
лесовика околицей повёз.

И, может быть, идиллия покоя,
подсмотренная мною из окна,
на свете существует не одна.
Покой? Скажите, что это такое?

Вон обелиск по-деревенски мал.
Дед с воза слез, разгрёб к нему тропинку,
обтряс вблизи поникшую калинку,
чтоб хрупких веток снег не обломал.

Три сына в скорбный список внесены,
три горькие травинки, три солдата,
и я сжимаюсь, будто виновата,
что смертью пали мельника сыны.

Язык покоя в гневе онемел,
земля запахла порохом – не снегом.
Покой был беженец, вступает следом
глубь памяти, где голос мой посмел

хозяйничать, будить, напоминать
ему войну, чтоб вспомнить до детали,
как всем народом мы в войну страдали,
и детям эту память передать.

Мельник

Крылаты, но пусты круги:
я – страж при жёрнове скрипучем,
а слёзы солоней и круче.
Я – чёрный мельник без муки.

Война, проклятая война –
муки ни струйки не сочтятся.

Безмолвно всё, но как волчица,
здесь воет мельница одна.

Как баба, воет по зерну,
взращённому назло невзгодам,
сгоревшему тем страшным годом,
когда мы проклиjali войну.

От глаз, как в омуте круги,
война всю жизнь остановила...
Голодных братская могила –
в войне не различишь ни зги.

Когда же сев? Когда весна?
Когда же осень с урожаем?
Земля три года не рождает,
не пробуждается от сна.

Я – сторож мельницы моей,
она – сестра родной деревне.
Родить земле – обычай древний.
Я верю в доброту полей.

Документальная хроника

Скрипучий журавель замшелого колодца
остался чудом цел – он видит далеко
следы избегнувшего мести инородца:
всё мёртво близ живой реки и за рекой.

Славянские поля оскорблены вторженьем,
лес изувечен, сёла сожжены...
Осталась без избы труба, как выраженье
безмолвия земли – здесь нет живой души.

Пронзает скупость скорбного признанья.
Пусть автомат один за всех договорит –
вернуть былой покой – великое призванье –
но нет покоя, нет, когда земля горит.

Без слов открытый зев трубы вызывает к небу,
и прах подножия печи кричит о том:
придите, мстители, чтоб враг здесь больше не был,
чтоб не вернулся в наш многострадаальный дом.



2. Без срока давности

Сроднил мундир эсэсовский
всю кадровую клику,
когда ж он стал уликою
и больше не кормил,
охотник на свидетелей
последнюю улику
в неведомых развалинах
навек похоронил.

Он – мирный немец,
чтоб о нём сомненья не закрались,
в мемориальном Мюнхене
в пивную не спешит,
где столько было выпито
за «Deutschland uber alles»,
теперь он штатский,
и костюм не так, как прежде, сшит.

О прошлом знает только Бог,
а Бога им не надо,
чтоб беспощадно загонял
воспоминаньем в гроб.
Убийца чуткий отвлекал
детешек шоколадом,
не дав доесть,
выстреливал
в затылок или в лоб.

Теперь он также раздаёт
конфеты ребятишкам,
он любит карты, а в душе –
философ и поэт.
Тому, кто «выполнил свой долг»,
так хочется затишья.
Но жертвы к небу вопиют:
забвенья больше нет.

Цвета земли утрачены,
а память стала бездной.
И кровью пахне нок.

3. Из речи обвинителя

Каменны руины тысячелетнего немецкого духа.
Скамья – последнее причастие верховных палачей.
Кровавой пеной бушевали торжества под дудку
всевидающего дьявола концлагерных печей.

Сгрудились папки протоколов и допросов:
свидетели в возрасте от четырёх до восьмидесяти лет.
Фотографии, кинодокументы, приказы, доносы
свидетельствуют обнажённое, ужаснее, чем бред.

Преступников осудим рано или поздно,
и даже отсутствующих на этой скамье.
Вымрут бежавшие и неопознанные,
но вечна ненависть к ним на земле.

А теперь о мире!
Тревожит предрасположенность
уповающих на историю потворствовать злу.
Казня бесчеловечность, мы едва-едва
покрываем задолженность
перед гармонией, обращённой в золу.

4. Побег через Атлантику

Действующие лица:

Мать

Мальчик семи лет

Беглец от горя со скрипкой

Беглец от возмездия

Хор:

О, океан – прибежище холоднокровных тварей.
Над преисподней глубиной распластанный ковчег.
Здесь солнце фантастический затеяло солярий,
с небес глядит в Америку и правит наш побег.

И свет его невыносим, и жжение нестерпимо,
так отсидеться хочется под толщей чёрных вод.
Прибьёт ковчег к Америке, прибьёт неумолимо
попутный ветер, пленный пар и жизни поворот.



Бегущий от возмездия не скроется от горя,
и в видимом смирении отчаянная страсть –
не видеть... Быть невидимым... Об истине не споря,
отплыть Колумбом, перекрасившись в другую масть.

Мать:

Я отпустила сына погулять.
С каким-то господином он гуляет.
Его во сне кошмар не отпускает –
он ночью плакал. Что же я за мать?
Я не могу ничем его облегчить –
в бреде его «Песочный человек»
зачем-то мучит. Мне признаться грех –
я книги прячу, но и так не легче.
Его терзают ужасы фантазий –
он мне сказал, что страшный персонаж
из гофмановской сказки здесь! На наш
явился пароход! Он был проказник,
он был шумливее детей других...
Мы пережили в Лейпциге бомбёжку,
и вот вернулись к жизни понемножку,
но сын, мой мальчик, слишком, слишком тих.

Послушайте: отец мой в тридцать третьем
скоропостижно умер; мать моя
за ним вослед покинула меня,
а я-то всё живу на белом свете.
Но иногда, мне кажется, они
счастливей нас и благодарней Богу –
нас волоком тащило сквозь эпоху!
Озноб, как только вспомню эти дни...
Как будто вновь в развалинах горю...
Мой муж? Погиб в России в сорок первом.
Я виновата перед сыном, верно?
Об этом я ему не говорю.
Мы сделали войну запретной темой.
Простите, может быть, вам тяжело?
Я здесь услышала не так давно,
что вы прошли гестаповский застеноч.

Беглец от горя:

Не стоит рвать такой запретный плод,
который ядовит. Мы им давились,

и всё-таки мы тяжко отравились –
одно упоминанье сводит рот.

Мать:

Да! Да! Всего боюсь – судьба ужасна.
Мне океан был страшен, как потоп,
и ветра необузданный поток
пугал. Теперь страшусь, что небо ясно.
Бесстрастно небо над пустой водой,
а тишина Атлантики смущает.
Мне эта тишь ничуть не возмещает
навек, навек утраченный покой.
От вашего молчанья мысли кругом.

Беглец от горя:

Я вынужден... Вас это огорчит,
но я имею множество причин
довериться не логике, а звукам.
Вы слышите, в машинном отделенье
предельно ясный однозначный стук.
Вода и ветер порождают звук –
слова слагают смыслу в услуженье.
Мы любим слово старое «пространство»,
но в сочетанье с «жизненным» оно
другого смысла страшного полно –
край гибели! Забыть нам не дано
флейт с барабанами тупое постоянство.

Слова дают привычный угол зренья
эстетики.

Я помнить не хочу
происхожденья неуместных чувств,
и потому пред ложью слов молчу,
и скрипка заменяет мне общенье.
(играет)

Хор:

Пред океанской широтой узко пережитое.
Здесь бездны с небом явственна двусмысленная связь,
дельфины птицами вспорхнут над вечным непокоем,
от притяжения воды на небеса стремясь.



Как равнодушен океан к доверию безумцев –
он ровно дышит, сам собою одухотворён.
Галактики на океан страстей не напасутся –
он равнодушием к живым, как счастьем, одарён.

Спасён бесстрастный океан от вымыслов природы –
мы доверяемся ему – дешёвый парадокс,
но весело осваивать глумящиеся воды:
и пар свистит и под котлом трещит весёлый кокс.

Мальчик:

Можно с вами на краю
постою?

Беглец от возмездия:

Только здесь? Но почему –
не пойму!
Видишь ты –
обе палубы пусты?
И таких
есть десятки мест других.

Мальчик:

Мне моя сказала мама,
здесь опасностей немало,
чтобы я сидел в каюте,
как сидят другие люди.
Кто один гулять посмел,
слишком смел.
Можно с вами на краю
постою?

Беглец от возмездия:

Ты не слышишь в океане
завываний?

Мальчик:

Нет, я слышу голос скрипки,
будто маленькие рыбки
свой настроили оркестр.

Беглец от возмездия:
Дует вест?

Мальчик:
Нет, не дует, вовсе нет –
то играет наш сосед
на своей старинной скрипке.

Беглец от возмездия:
Слышу слёзы в марше хлипком.
Это – Моцарт?

Мальчик:
Я не знаю,
я на скрипке не играю.

Беглец от возмездия:
Знал я мальчика другого,
скажем, возраста такого,
что и ты, и он играл.
К сожалению, несмело...
Слушать смысла не имело,
и его я наказал.

Мальчик:
Справедливо?

Беглец от возмездия:
Кто же знает?
Больше мальчик не играет.
Вот такой уж строгий век.

Мальчик:
Вы – песочный человек?

Беглец от возмездия:
Предположим для начала.

Мальчик:
Значит, ясными ночами,
при холодном лунном свете
вы в глаза бессонным детям
насыпаете песок?!
(в ужасе убегает)



Беглец от возмездия:

Смысл той сказки невысок.
Жизнь страшней, чем мистик Гофман.
Час песка иссяк на горе,
и часы мои пусты.
Новый срок не дан,
не начат, чтобы всё переиначить
и успеть поджечь мосты.
Что песок? Зола и прах –
это свойственно материи,
пепел воет, как мистерия,
по ночам шныряет страх.
Пепел вытек в океан.
Из полфаустова срока
не извлёк другого прока,
только дьявольский обман.
Время-пепел истекло,
и теперь летят в воронку
за звездой звезда вдогонку,
с солнцем, с жизнью заодно.
Небо пусто и темно
над пустою водной бездной.
Прозябание беззвёздно,
точит ножик о стекло.

Хор:

Над нами неизмеренное звёздное пространство,
звёзд белое каление равновелико льду,
и сердце пышет жаждой неосуществимых странствий,
попробуй в этом крошечке найди свою звезду.

Но сила притяжения ещё сильнее рассудка –
привычный угол зрения – неодолимый плен:
и восхищенье, и печаль венчают смену суток –
ночь приближает берег долгожданных перемен.

Всплывает берег-лабиринт – видны провалы входа.
Он там казался выходом, а здесь немудрено
опять возмездье, горе, страх вкусить без перехода –
здесь отраженью старого всё новое равно.



5. Слухи и паника

Пароход на место прибыл.
Крики радости: «Земля!»
Что там? Убыль или прибыль? –
дышат, будто груз сваля.

А по берегу в беретах –
каждый стиснул автомат –
от рассвета до рассвета
автоматчики стоят.
– Нет, не выпустят сегодня...
– Завтра?
– Может, никогда!
– В океане посвободней...
– С нашим мальчиком беда –
болен он морской болезнью –
можно на землю сносить?
– Здесь молчать куда полезней,
чем о помощи просить.
– Ищут там!
– Кого там ищут?
– Выпустят, когда найдут?
– На борту воды и пищи
слишком мало
– Что же тут
так и станем век качаться?
– Может, век, а может, два!
– Нас утопят?!
– Может статья.
– Я уже едва жива!..
– Незвестность хуже пытки.

Ходят, шепчут, говорят...
Слухи ходки, страхи прытки,
души в панике горят.

6. Соломинка возвращения

Скала? Доска? Пергамент и папирус?
Взгляд вплавлен в полустёртый отпечаток.
Сюжет истлевший: заблудилось чадо,
истлевший, но рассчитанный на вырост.



Измученный вернулся серый странник,
в обмотках обмороженные ноги,
как нищий, просит он тепла немного,
чтоб страх души отверженной истаял.
Овца заблудшая, иди к отцу – покайся.
Дом изобилен, а на сердце – камень.
Сияют чарки медными боками,
как натюрморт в манере Франса Гальса.
Вино и окорок, хлебы и солонина...
Ах, как изысканно! Ах, как уютно!
Легко, легко встречать в сочельник утро
со славою вернувшегося сына.
Не вспоминай, заблудшая овечка,
скитания бездомного в позоре,
глоток воды и горсть ячменных зёрен –
всё позабудь – прощенье бесконечно.

С поправками чувствительный сюжет
до нас дошёл. Как будто блудный сын
там, где всегда прощенья просил,
нашёл фугасной бомбы свежий след.

Теперь он их простил. Они ему
не вынесли ни хлеба, ни вина,
и пепел очага и всех вина
летят по ветру, и конец всему.

7. Строка

Сожжѐнный дом под Киевом – строка...
Ночь страха – строка...
Дети, убитые пулей, газом, голодом – строка...
Фрески Дионисия в новгородской церкви
Успения Божьей Матери,
закопчѐнные снарядным порохом, – строка...
Навоз немецких артиллерийских битюгов
в яснополянском доме Толстого – строка...
Заминированная могила Пушкина – строка...
Развалины Варшавы – строка...
Танковый ров с телами заложников
из французского города Орадур-сюр-Глан –
строка приговора!



Пусть на земле, где мать его носила,
каштан стоит корягой неживой.
Пусть на полях истлеет синий лён,
чтоб не было рубахи покаянной
ему пред смертью. Пусть его скелет,
обвешанный оружием убийства,
скитается, не зная утешенья,
и пусть одномундирники его,
чёрно-серебряные, серо-золотые,
всем петухам располосуют горла,
чтоб никогда сигнала избавленья
никто из них вовеки не услышал.

8. Заключение

Пора брать обещание назад.
О, непомерно непосильная задача –
солировать в народном хоре плача,
чтоб утверждать с гармонией разлад
и всё на новый философский лад.

Здесь нотные колючие значки,
как иероглифы, стоят по вертикали,
но звуки вширь, как реки, растекались
под обе необученных руки –
бессилье с отречением легки.

Но всё ещё покой ведёт ко льдам,
которых холод освещает тризну
по упокоенной духовной жизни,
без уваженья к горю и летам,
оптимистически зовёт к трудам.

Членораздельности не терпит музы звук.
Шершавых слов при музыке смятенье –
несоразмерное грехопаденье.
Невнятица обуглилась и вдруг –
замок амбарный – факт защелкнул круг.

От образцов на камни волоча,
мораль, разыгранная чётom и нечётom,

позорит Ratio как сделку с чёртом,
невинностью все недуги леча –
от нигилизма до паралича.

Беспечной жизни, слава Богу, нет.
О том, как мы тревожимся и ищем,
сказать и миллионный раз нелишне,
чтобы вовеки не стирался след
нелёгких поражений и побед.

Тысячелистник

Тысячелетний дед-тысячелистник
живёт себе, доволен сам собой,
ему ли надобно ещё корысти –
в букет из роз заходит, точно свой.

Угодник дамский – хрустали гостиных
своей души прозрачное нутро
водой наполнят – все приемлет стили:
стекло Венеции, торговкино ведро.

Всеяден дедушка на побегушках,
он только фон – он создан оттенять
красу девицы, доброту старушки.
Десятый век несладко вековать.



КОРЗИНА ЗЕМЛЯНИКИ

* * *

Пустыня-комната – вот мой уют,
стена – картиной выюченный верблюд.
Есть дырочка в двери, в почтовый ящик,
оттуда жду я жизни настоящей.

Живу я в комнате уже который год,
и ожиданье в ящике живёт.

А в зеркало вселилось отраженье,
и если уезжаю, ухожу,
то обязательно по возвращенье
следы его работы нахожу.

Нигде нет ни соринки, ни пылинки,
заиграны, как старые пластинки,
как партии в рулетку и зеро
все дни мои, и в комнате серо.

Но никогда при мне не выходило
на волю отраженье. Я не помню,
чтоб взгляд мой не молил моей двери,
и жизнь на ожиданье осудила –
свет белый ожиданьем переполнен.
Рассвет всесильный, чудо сотвори!

Стань сегодня к нам добрее,
пусть письмо придёт скорее,
все надежды постареют
в ожидании даров.
...Холод. Снился галерея
ямбов, дактилей, хореев –
все посланники Борея –
бога северных ветров.



Север

Как мною незаслужены дары!
Мне север виделся всё северным сияньем,
подлёдным ловом бездыханных рыб,
вовек неодолимым расстояньем.

Его покрыли самолёты, поезда,
и я достигла той желанной точки,
где север основался навсегда,
неласковый, но это лишь цветочки...

Цветочков не было, сиянье приглуша,
снега приплюснутые матово мертвели,
то падали и падали, шурша,
немые, прогрессируя, немели.

Но, надрываясь в чёрный микрофон,
влетала песня в странное пространство.
Был инороден песне белый фон,
она, кривляясь, гибла беспристрастно.

А он стоял, оглохший и немой,
не проводящий никакого тока,
и всё-таки был этот север мой
всезнайка обездоленный и дока.

Он обо мне знал всё: каков был юг
с заёмной трескотнёй восточных пеней,
когда в молчании бесстрастно лют,
не требующий самообвинений,

он припадал уже к моим ногам,
как будто только он и был причастен
к тому, что холод никогда не лгал
и равнодушно душу рвал на части.

Душа была листком черновика.
Перебелить?!
Но мой начальный лепет –
тот черновик унижен на века...
Мне негде взять бессмертной и нелепей.



* * *

И соловьиный сад, и муравьиный скит
присутствуют в моих стихотвореньях,
поскольку малых сих я помню с сотворенья
земного бытия из неземной тоски.

О, разве среди тьмы метался безуспешно
с одной идеей пламенный творец,
пока в глазах его забрезживший конец
творения заволокло кромешно.

Неведомо нам то, что сотворим,
к неведомому как же подступиться?
Учёный, гений, труженик, тупица
с творцом хотят сравниться, только с ним.

В своём отрезке, кратком и испетом,
они едва ль воспримут от творца,
что сила знания – в знании конца,
в процессе это знание под запретом.

Но без конца щемящий мир земли
вторгается то птицей, то собакой,
кузнечиком из трав, съедобным злаком,
тропюю, деревом и пригоршней золы.

* * *

Неизмерима мук величина.
Растеряна и разоблачена
тем, от кого свои скрываю мысли.
Объект любви час от часу корыстней.

Сначала только мыслями владеть
наметил, после сердце жёсткой болью
зажал, и некуда мне муку деть,
но он возжаждал и того поболе.

Он жаждал душу, и она была
готова силой вырваться из клетки.
(Случилось, что душа была больна,
а просветления бывали редки).



И то, что растроилось во плоти,
никак не совмещалось, не вмещалось
в обыденность. Не в силах обрести
покой, я с жизнью каждый миг прощалась.

И сколько можно так любить тоску
и презирать обрыдлую взаимность,
и вновь творить одно и то же имя,
подобное зыбучему песку.

И изнуряюще молиться о любви,
просить у неба пыток и пощады,
шептать, но требовать: «Явись! Яви
неравнодушие, а большего не надо».

Неизмерима мук величина.
Растеряна и разоблачена.

* * *

Всю жизнь свою чего-то жду:
то телеграмму, то беду,
то жду любви, то жду расплаты.
Душа – рванина – никакой заплаты
не приспособишь,
и свистит сквозняк
от дыр и дыры залатать попыток.
Дыра к дыре! О, славься дыр сплошняк,
сквозняк и с ними свежести избыток.

О, славься день тревогой и тоской!
Наполнись невозможным ожиданьем!
Наполнись лютой болью, да такой,
чтоб высекла огонь из мирозданья!

Чтоб разорвав условностей силоч,
все ожиданьем жили безусловным,
и новых философий оселоч
смущал, чтоб вовсе не дышалось ровно.

Чтоб видеть, как опережает тень
бегущего, как неуёмна смелость.
Пусть бурей неожиданных затей
придёт просвет в обыденную серость.



О, необыкновенность скоростей,
чувств непредвиденных и мимолётных,
всех клеток плоти, молодых, голодных
до новых ощущений и вестей.

Рифмы

Куда ни глянешь, прямо по росе,
бесцельно и травы не приминая,
несутся белки-рифмы в колесе,
чужое нечто вам напоминая.

А нам своё. Из самых недр души
изъятое, молчит стихотворенье.
О, диверсант, презревший рубежи,
заступник от болтливости старенья.

Нехватка слов придушит, но не рифм,
Инфляция созвучных пар в загуле –
Пирует критик – голошейный гриф,
слетев на труп словесных загогулин!

Подряды рифм вне твоего суда.
Подрядимся удить и быть при деле!
Плывите, рифмы милые, сюда –
ведь мы о вас довольно порадели.

Из самых бедных бедные мои,
я вас за нищету не презираю –
полжизни вы смогли переманить,
полдетства просидели за сараем.

Тайком, тайком, сейчас ещё тайком,
когда уже обруган каждый возглас,
я вас пою малиной с молоком,
при вас живу и сатанею возле.



БАЛ-КАРНАВАЛ

Ряженые:

Лапландская неясыть

Филин

Чёрт

Филин:

Ах, какие формы тела,
греческий прекрасный нос!
К нам неясыть залетела,
по-лапландски квохчет в нос.
О, прелестная лапландка,
по-лапландски квохчет в нос!

Чёрт:

Вас попутать? Ой, представить?
То есть, познакомить вас?

Филин:

Помоги, и стану славить
в своей песне тыщу раз.

Чёрт:

Вот лапландская неясыть,
вот славянский кавалер.

Филин:

О, как образ твой прекрасен,
местным дамам не в пример.
О, в лесу такой не сыщешь –
местным дамам не в пример!

Неясыть:

Расскажите покороче
о намереньях своих.
Сможете ль разбоем ночи
прокормить один двоих?
А к весне найдутся ль средства –
прокормить ещё троих?

Филин:

Брошу лес тебе под ноги!
Чтоб впустую не сказать,
стол бесплатный при дороге
стану я теперь держать.
Очень многих, очень многих
сов смогу я содержать.

Неясыть:

Я люблю не лес, а пустошь,
и хотя твой голос мил,
по миру детей тыпустишь,
филантроп, славянофил.
Лупоглазый филантроп,
ласковый славянофил.

Филин:

Не ругай меня словами,
незнакомыми в лесу!
Всю с крылами и с ногами
в дом дубовый унесу,
в дуб прекрасный,
в дуб прогнивший
мою кралю унесу.

Неясыть:

Сиволапый мой ушастик,
ослоухий ангел мой,
я люблю тебя отчасти,
а пока лечу домой,
в белоснежную равнину
затемно лечу домой.

Филин:

О, красавица-девица
желтоглазая краса,
целый день мне будут сниться
твои крылья-паруса.
От меня тебя уносят
твои крылья-паруса.



Чёрт:

Навертел я чертовщины,
и от счастья сам не свой,
в довершение всей картины
брошусь в прорубь головой.
Филин спит, рогат и счастлив,
можно в прорубь головой.

Послесловие автора

Смысл прямой и околичный
остаётся делом личным
одиноких странных птиц,
масками прикрытых лиц.
Кто расчётлив, кто влюблён,
чёрт про всё осведомлён.

И если петь...

*Натёк запас лирических сюжетов,
а вы-то думали, он навсегда иссяк.
И вновь арена – больше нет секретов,
и в сердце потоптаться может всяк.*

1. На болоте

Мучительная северная ночь,
и солнце с севера глядит неумолимо,
испепеляюще – земля неопалима,
но жжёт – туман не в силах обволочь.

Так своенравье бешеной природы
нас заманило ночью в сосняки,
зарёвана урёма у реки,
в болотах кочки – добрые уроды.

И чтоб верней мы сбились без звезды
с дороги, солнце жарит в лютой пляске,
а мы ногами придаём огласке
свирепый всхлип зияющей воды.

Не выбредем – останемся. Спешить?!
Смешно спешить вихляющей тропою,



раз небо, бесконечно голубое,
болото не способно осушить.

Такая прорва кочек на двоих.
Ближайших сосен очертанья чётки.
Здесь будем жить, как две носатых чомги, –
вот кочка, что поболее других.

В болото скоро ль канем или нет? –
на этом кончился разгул воображенья.
О, дух густой болот и разряженье
кипучей белой ночи в новый свет.

2

Всё свет и свет. Когда же тьма и мрак?
Когда же ночь полярного покоя?
До суши, кажется, подать рукою,
но вот ногою не достать никак.

Ну что ж? Бывает рай и в шалаше,
а нам его вкушать среди болота...
Жужжанье стрекозино полёта –
два ангела, два красных вертолёта
нас разлучать торопятся уже.

* * *

Нашей жуткой полуправдой,
нашей правдой полужуткой
не насытишь промежутка
меж двухсловных телеграмм.
Бесконечной эспланадой
мы отрезаны от клада.
Благородный мой, не надо
осквернять молчаньем храм.

Купол неба сообщался
с куполом моим безмозглым,
и ужасные виденья копошились по углам.
С кем ты без меня якшался
прошлой осенью промозглой?
Знался с тенью, звался тенью,
был разорван пополам.



Только мне и половины,
только мне и сотой доли
от тебя не доставалось,
так, один-другой флюид.
Нет надёжней пуповины,
чем тоска о прежнем доме...
Помню, горько целовались,
дом, как тьмой, плющом обвит.

Мои чувства простывают –
скоротечная чахотка.
Встали родичи безмолвно,
на агонию глядят.
Ничего, мой друг, бывает.
Невеликая находка –
я с любовью безусловной...
Что за муки!? – Ад и ад.

* * *

Сон длился двадцать лет.
И снег, и звездопад
чередовались в нём и совместились.
Мы искушённые в разлуке, невпопад
то встречей бредили, то невпопад постились.

И только сумрак полдня, свет ночей...
Мне нечего скрывать в бесплотности фантазий –
к разлуке не было подобрано ключей,
для встречи нет причин или okazji.

А что же есть? Ведь что-то в мире есть.
Пока мы живы, нет душе покоя,
ведь ты украсть посмел её, унести,
и оттого так жутко высоко ей.

Душа упасть вольна или парить...
(Так говорится).
Жизнь – извечный искус:
когда не надо правды говорить,
лжи на губах солёно-горький привкус.



К переводам

Довольно своевольным переводом
хочу блеснуть перед своим народом.

А имя – разве фиговый листок?
Я, как сверчок, узнав чужой шесток,
сiju на нём, и трудно перебраться
на свой шесток. Уж лучше и не браться.

Уж лучше мне не рыпаться и в малом,
чтоб недовольных мной как не бывало.

Уж лучше всем умолкнуть заодно,
да цепь порвётся – выпадет звено.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ ДЖОНА КИТСА

Античная амфора

Таинственна невеста тишины,
Послушница спокойного молчанья,
Сказительница, как мы влюблены
В лесную сказку, в песнь без окончанья!
Как совершенны призраки легенд –
Язычники! Красивы, точно боги,
И все для подражанья образцы.
Погоня вокруг вазы иль побег? –
Экстаз движения – давай бог ноги!
Куда бегут Аркадии жильцы?

Тимпаны дрогнули, флейтистдохнул в цевницу
Неслышимое. Так, из первых рук
Взять музыку, вдохнуть и удивиться,
И не узнать в беззвучье спящий звук.
Пространство считанное – время так беспечно:
Любовник дерзновенный никогда
Невинность не настигнет обладаньем:
Листва, и цель, и бег, и юность вечны,
И поцелуй, сформировав уста,
Не отлетел и не разрушил тайны.



Стихия чувств не знает пресыщенья –
Неутомима зрелая весна,
И листья вечны веткам в утешенье,
И флейты зов без отдыха и сна.
Об осени ни звука, ни вестей.
Немыслимо – тебе судьба другая!
От пресыщения горят виски...
Одна из самых пламенных страстей –
Живая страсть – любить, не достигая,
Не ведая измены и тоски.

О, протяжённость жертвоприношенья:
Алтарь не обагрённый скрыт в лесах,
Нож не вознёс таинственный священник.
Кто тёлку возлюбил на небесах,
Что бугорки рогов венком увиты,
Что шёлковым бокам неведом кнут?..
Все чувства первозданные простые.
Что, молча, помнят каменные плиты?
Где бегуны, что прежде жили тут?
Молчит стена и улицы пустые.

Холодный мрамор – силуэт Эллады:
Затейливым сплетеньям нет конца –
Людей с тропой, с беззвучьем звукоряда,
С безумьем бега, с разумом творца.
Блеск пасторали на глазах у всех,
Бессмертно легкомыслие святое –
О, вечность в форме мраморного дива!
Забыла публика свой мелкий неуспех.
Что истина? Молчит пред красотой –
Лишь красота поистине правдива.

Немилосердная дама сердца

Зачем, зачем, несчастный рыцарь
Уединяться и бледнеть?
Суша осока, летним птицам
Не время петь.

Зачем, зачем, несчастный рыцарь,
Сознание удручено?



Поля пусты, дупло у белки
Зерном полно.

Чело бледнее, чем лилея,
Страданье тайное хранит,
Истаяли бывшие розы
Живых ланит.

– «Я встретил даму – совершенство,
Волос бурлящий водопад,
Стан тонкий, поступь легче ветра,
Тяжёлый взгляд.

Я из цветов ей плёл браслеты,
Душистый пояс и венок.
Страшился глаз, но слушал вздохи
И слов поток.

Мы с ней владели тайной грота,
Укрытого закатом дня,
Она клялась до самой смерти
Любить меня.

И дикий взгляд безумной страсти
Я поцелуями покрыл,
Но горестно она вздыхала,
Стон боли плыл.

Меня пленил нездешний голос,
Мечтой волшебной наградил,
Вдруг грянул ужас пробужденья –
Я был один.

Цари и рыцари, и принцы
Явились, как бесплотный бред:
«Мы знаем вашу даму сердца –
В ней сердца нет».

И их страдающие губы,
И вопль, и взгляд открытых глаз
Терзали, мучили, студили –
Пыл не угас.



Я обречён бродить страдая,
Уединяться и бледнеть,
И сердце суше, чем осока –
Не время петь».

Праздная душа

Забрезжил свет, и три явились тени,
Три профиля спокойные втекли,
Все в белом и нарядней привидений,
Их поступь не тревожила земли.
Был малым круг, как будто вазы бок
Изображеньем тайным повернулся.
Три тени в круге. Кто тут средний, крайний?..
Вращения сосуда смысл глубок,
Но я от сна едва-едва очнулся –
Был непостижен их приход и странен.

Никто не обличал моих пороков –
Движение по кругу – весь сюжет,
И нет обременительных уроков,
И праздности моей извода нет.
Мир пробуждается, отрадна боль
Той явно праздной зрелости, той были,
И привкус уксуса её не разъедает.
Ваш фон невозмутимо голубой.
Не распалившись, вы не распалили
Души – она в небытии витает.

Ушли направо, слева входят вновь.
Взглянув, исчезли, в воздухе растаяв.
Лопатки резало – вот-вот и хлынет кровь –
Так ощущал я крыльев проростанье.
Вы узнаны! Одна – Любовь и Страсть,
Зарёй весенней лик её помечен.
Одна бледна – она Самовлюблённость.
А с третьей, лучшей, я готов пропасть –
Поэзия и Муза – грех мой вечный,
Твоя невыносима отдалённость.

Вот тени выцвели, и воздух недвижим.
Любви не жаль – её, быть может, нету,



И Честолюбья пламенный нажим –
Ничто – нестрашному подобен бреду.
Поэзия – душа всех бывших строк –
При свете солнца сон навеет в травах,
По ней тоскую, умереть готовый.
Она – приют от въедливых эпох:
Что перемены лун, суждений здравых?
Ведь нет досады в праздности медовой.

Был тусклым сон, я бредил на заре,
И вы явились. Какова причина?
Душа лужайкою на пустыре
Лежит и отступается кручина.
Вином из каждой почки и листа
Мир напоён, и небеса искрятся –
Под утро майские назрели грозы.
Вперёд баллады певчего дрозда
Вы дважды возвращались попрощаться,
Исчезли, чтоб впустую лил я слёзы.

Что похвалы? За что мне вас хвалить?
Что я в щенячьем молодом восторге
Лил слёзы, не переставая лить
Слова? За то, что я от вас отторгнут?
Вы обнимали призрачный сосуд
И мирно растворились в небе синем.
Ломая нравы, вы мудры и правы!
Что мне фантомов безопасный суд,
Когда объятый праздностью весильной,
Сплю на лугу, примяв живые травы.

* * *

Как Крошечка-Хаврошечка у мачехи бесслёзной
над каторжною россыпью пшена и ячменя,
сiju в тоске отчаянной под этой твердью звёздной
с задачей, непосильной для меня.

Мой каждый вздох земной одной ночной звезде обязан,
но среди миллиарда звёзд она растворена.
Как будто бы в сиянии, неразличимом глазом,
лежит обетованная словесная страна.



Брожу. Поводырём в ночи – беззвучье крыл совиных,
ни скрипа нет, ни пенья нет, вся ночь – обрыв речей.
И за спиною жизнь моя – не меньше половины,
и голос, криком сорванный. И чей же он? Ничей.

Когда все звуки-отзвуки живут в миру отдельно,
когда шесть чувств неспянных бредут, куда хотят,
скелет и кожа что для них? Ночлежка, богадельня, –
сидят молчком и выползут слепей слепых котят.

Я утром полощу гортань водою ледниковой,
чтоб голос, бытом не смягчён, не грел, а холодил,
чтоб каждый мученик земли, железами закован,
постиг тепло своих цепей да их боготворил.

Неопалимой купины свеча морозит тени,
природа пред индустрией сто тысяч раз права.
Молюсь, алфавитно твержу весь перечень растений –
под отчим небом отчим-дом и мачеха-трава.

Иначе для чего шуршат страница за страницей,
и срывы настроения при каждом ветерке?
Готовая на исповедь с убийцей и блудницей,
прочла: «и уголь пылающий...» – и стыну на строке.

Опять гроза

*Сто слепящих фотографий
Ночью снял на память гром.*

Б. Пастернак

За нынешним, неожиданно грозovým
мне померещилось иное лето.
Дни, по ту сторону ушедшие во тьму.
В обнимку с восприятием живым,
изъятию не подлежащим светом
горят. Я их никак не разниму.

Отточена, как Бергмана кино,
забыта и окончена давно
та жизнь, то детство, и они беззвучны...
Озвучивать кино – отдельный труд,

ведь звуки, не считаясь с тишью, прут.
Понять их? Объяснения не научны.

Вот мастер склеивать фарфор, фаянс
проплыл на паруснике мимо нас –
разбилась чашка, жёлтая, как осень.
Гайдар детей увёл за голубой,
а мы остались вспоминать с тобой,
творить для воскрешения ремёсел.

Кричат нам: «Ножи–ножницы точить!»
и «Бритвы править!» Мы вернулись жить –
точильный камень – наш горячий камень.
Я потянула рукопись за край:
мой вольный перевод: «Ты знал ли край...
(из Гёте), где лимоны – жёлтый пламень?»

Романтиков помешанных мотив,
и я туда же, всех опередив,
кричу и вольничаю: знал ли ты, ответствуй,
тот край, где тополя, карагачи
в казахско-русской прижились ночи,
и воздух, как лепёшка из печи,
где нет ещё усталости, нет бедствий?

Где самовары топятся щепой,
утробно примус исторгает вой,
где по воротам бьют консервной банкой
за неменьем лучшего мяча,
где пыль босым подошвам горяча,
где все дома окраинные в дранках.

Полыни у заборов, как былё,
в дворах мамыши шоркают бельё,
скрипят о коромысла вёдер дужки.
Папаши в свой законный выходной
берут у бочки враз не по одной –
по две в руке несут пивные кружки.

Соль досыта – окончилась война.
Моя калитка мокрая видна.
Кто там? Войти, перевести дыханье?



Гляжу из зарослей сиреневых кустов,
уже слепящих фотографий сто –
не утихает молний полыханье.

Птичий вылет

Уклад земли, наверно, вечен:
мы догадались без труда –
сегодня вылет из гнезда
для желторотых был намечен.

И так в один свершилось день,
что ласточки, скворцы, синицы,
оляпки и другие птицы
отбросили живую тень.

О, птичий гвалт, базар, содом!
О, равенство, как желторотость!
Кипел разброд, впадая в кротость,
про зиму думал старый дом.

Когда ещё зима, заносы!
Наслушаемся разных птиц!
Что прорицанья сатаниц –
ворон чумазных, горбоносых.

Едва-едва их жуткий грай
звучит в народном птичьем хоре,
кому поверится, что вскоре –
зима на этот райский край?

Но дом грустит, свершился вылет
птенцов из каждого гнезда,
и отступ лета, как всегда,
стрелой хандры разит навывлет.

* * *

Такого неба небывалого,
такого солнца запоздалого,
такого августа вовек
здесь не бывало. Я, бывало,
сижу, не подымая век.



Когда ж вперёд взгляну едва,
враз узнаю следы кострища,
тропу в растительности нищей
да барственные деревья.

Мой сад-элизиум кишит
такими праздными тенями,
беспечно прожитыми днями
мне в одиночество шуршит.

Мне брезжит праздник моментальный,
потом разъезд гостей, детей,
потом соседей ближне-дальних.
Нет силы у моих сетей –
они изорваны, но тени
живут в саду среди растений.

Живут здесь несколько сюжетов
и стайка дорогих поэтов,
собаки распятнистой тень
с щенками возится весь день.

Но между солнцем и луною,
в излёте августа и дня,
они не знаются со мною
и ускользают от меня.

Дом пуст, и пустота в окне,
теней неразличимы лица,
но я не устаю молиться:
– Вы не покинете? Вы не?..

Покинете! – И брезжит тьма,
ночь одиночества – подарок,
и ожил образ-перестарок,
чтоб новизной свести с ума.

* * *

Древне-юная звезда
с именем, как чаша мёда,
цветом – медная руда –
над проломом года.



Что откроется в судьбе?
Предсказанье звёзд никчёмно.
Тот светильник – вещь в себе –
прорицает скромно.

Где-то в зарослях, во тьме,
каждый звук велик и значим,
свищут, свищут обо мне,
надрываясь плачем.

Озверели соловьи,
младшенький, и тот в ударе –
захватили клочок земли,
оглушили дали.

Тьму для песен отобраз
у мгновений ночи гончей,
чуть роса коснётся трав,
должно немотой окончить.

Соловьёв в овраге след
сгинул – найдены подружки.
Мне ли петь в глухой просвет
в ожидании кукушки.

Молчалива, точно грех,
моя жила горловая.
Что сказать – сразила всех
песня шаровая.



МЕЛАНХОЛИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

*И муза вовсе отвернулась,
Презренья горького полна.*

Н. Некрасов

Действие происходит в однокомнатной квартире на пятом этаже. На столе множество книг с торчащими закладками. Жена гладит бельё. Поэт пишет и говорит вслух.

Поэт:

Сегодня лютый август овладел
природой, мыслью, воздуха настойкой.
Мы августом пьяны...

Жена:

Но не настолько,
чтоб оторваться от домашних дел.

Поэт: (пишет молча)

От августовских до февральских ид
нам доктор напрозорчил чёрной желчи.
Кто, кто в саду об исцеленье шепчет,
усугубляя глубину обид?

Неумолим отъявленный сентябрь.
В его замысловатые коленца,
в сучки, в стручки вписался розенкрейцер,
как самый деловой среди растяп.

(к жене)

Практичность – Бог, алхимиков найти
не чаем – всё забито здоровым смыслом.

Жена:

Но если почва твёрдая раскисла,
то как же я по ней смогу идти?

Поэт:

Но слякоть тоже может быть прекрасной...
Вчера, когда остался я один,
перечитал «Поэт и гражданин»...

Жена:

Да, жалок тот, кто гражданин безгласный!



Поэт:

Я так старался обходить углы.
Нельзя стать гражданином без отваги.

Жена:

Тянись, рука, к перу, перо, к бумаге –
стихи текут свинцово тяжелы.

Поэт:

Живём с тобой совсем без озаренья!

Жена:

Мы, милый мой, должно быть и честны,
и добродетельны излишне...

Поэт:

Лучше сны
я буду превращать в стихотворенья.

Жена:

Но здравый смысл велит кормить детей,
бельё, хоть не стирай, – оно чуть дышит.
Нет, он не слышит, пишет, пишет, пишет.

Поэт: (пишет)

Спускается таинственная тень.
Герой меланхолических комедий –
лохматый сумрак – фонарём изъеден,
объедки пира подбирает день.

(к жене)

Я лирикой кормился понемножку
и вот остыл к эпической тоске.
Который век!? Звонят!

Жена:

Тс-тсс, в глазке –
сосед Андрей, конечно... клянчить трёшку.

Поэт:

Так что ж, пойдя, скажи, что дома нет.

Жена:

Нет, я отсутствую – скажи ему об этом!



Поэт:

О, дьявольщина! Как тут быть поэтом?
Тогда молчи!

Жена:

Молчу, молчу, поэт!

Поэт: (пишет, подвывает вслух)

Я одинок, приходи, сосед, знакомый!
Мой гость! Зачем ты не открыл лица?
Ты глух к мольбам!

Жена:

Ты спятил до конца?
Звонок!

Поэт:

Но, слава Богу, телефонный!

Жена:

Алло, привет!

Поэт:

Кто это позвонил?

Жена:

Он вышел, скоро будет. Ах, мне лестно!
Как, Лиру бросил? Это интересно!
Ха-ха-ха-ха, умора – нету сил!

Поэт:

Я дома, я вернулся. Дай мне трубку.

Жена: (закрывает микрофон)

Да, отцепись, уже я наврала!

(в микрофон)

Сбежал! Я так и знала! Лирка зла –
под двести – бёдра, носит макро-юбку.

Поэт:

Я дома, я вернулся. Кто звонит?!

Жена:

Наташечка, вот мой супруг вернулся,

от обожанья, кажется, рехнулся,
всё кланяется и благодарит,
и просит трубку.

Поэт: (закрывает микрофон)

Дура, что сказать?
Зачем суёшь мне трубку с этой дурой?

(в трубку)

Наташа, здравствуйте, взбежал на верхотуру
и задохнулся – слова не связать.
Да, всё кручусь, как уж на сковородке.
Статья? Статья меня не потрясла.
Чего желать от критика-осла –
серьёзного суждения, честной сводки?
За кофе благодарен. Нет, не пью
ни водки, ни вина, лишь чай и кофе.
Привет супругу Пете, дочке Софе!
Я всех вас, всех вас, всех благодарю!
Супруга трубку рвёт.

Жена:

Представил сцену?

Муж: (закрывает микрофон)

Мне надоел никчёмный разговор:
Наташка – спекулянтка, Петька – вор,
за тряпки лупят с нас тройную цену!
«Всё кланяется и благодарит!»
У этой дряни – муж делец известный...

(отдаёт трубку жене и пишет)

О жар, о жар отмщенья повсеместный,
мир преисподним пламенем горит.

(бросает перо)

Вот чушь. Реальность здесь не ночевала.
Словесность водяниста, голуба...
Был критик прав... Был прав осёл – глупа
поэзия в быту среди развала.

Иди, жена, возьми последний рубль
на локоны, на кофе, на конфеты,



иди к другим, броди по белу свету,
моей любви непросветлённый дубль.

* * *

На осень мне Вергилия подать!
С ним побреду в кругах воспоминаний.
За дымкою легчайшею и ранней
кто встретит нас? Хвостатая ли рать,
или крылатых ополченцев рать?

Нет, мы пойдём срединною тропой,
в долгах погрязшие, в немыслимом оброке,
заплатим за младенческие сроки
невинности повинною судьбой.

А вся повинность – в обществе дерев
и в парке имени советского святого
искать и не найти пути крутого
и об огне крушиться, отгорев.

Что ж, под присмотром совести-тоски
грехи, кляни вселенские колёса,
пока войдёт Вергилий безголосый,
кормящий малых птиц земных с руки.

И нет раскаянья, свободная душа
полами платья, как крылами, машет,
из прегрешений только скорби наши,
и к счастью, за душою – ни гроша.

И малый груз тебя не тяготит.
А что круги? Ведут в такие дебри,
где маленькую свечечку затеплит
слепой, как Бог, поэт и всех простит.

* * *

Ветер – бестолковый дворник,
подметала-неумеха
ничего не понял в красках,
взялся листья ворошить.
Листьев маскарад рискован –



скоро будет не до смеха,
бледным листьям в пёстрых масках,
как им жить?

Не отечественной краской –
всё заморской кошенилью,
киноварью и лимоном
перекрашена листва.
В этой свистопляске праздной
пахнет прелью или гнилью,
вьются листьев миллионы
с мукою без удалства.

Среди них родной и местный,
в ледниковую эпоху
с гор спустившийся в равнину,
тяжело молчит валун.
И к нему пред мукой крёстной
бледный лист с последним вздохом,
раскрошась наполовину,
прикорнул на много лун.

Древнерусские порядки –
что упало – то пропало,
да старинные обряды –
мёртвых погребать в огне.
Краски, маски... Пляски кратки –
всё летит куда попало,
деревам одна отрада –
обрастут листвой к весне.

Осенью к закату дня
много дыма без огня.



Песня о себе
(Из Джона Китса)

1

Один юнец капризный
Капризником прослыл.
Никто не помнил дома,
Чтоб он спокойным был.
Он схватил
Свой рюкзак,
Положил
Книгу
С картинками
Без слов,
Накидал мигом
Ботинок,
Носков,
Рубашек,
Штанишек.
Потом,
Закинув за спину рюкзак,
Никому не сказав,
Покинул свой дом.
Сбежал!
Куда вёл его нос?
На север,
На север
Повёл его нос,
На север.

2

Один юнец капризный
Не слушал никого –
Стихи писал и больше
Не делал ничего.
Посетил
Владенья
Привиденья,
Надул чертей;
Любил
Представленья



И всем на удивленье
Без лени,
С пером в руке,
С чернильницей огромной
Бродил
И в пыль,
И в зной,
И летом,
И зимой.
И гром,
И дождь,
И град любил,
И родники,
И лёд реки,
И в снегопад
Был рад.
В холодную
Погоду
Он кутался в пальто,
А в тёплую –
Не кутался
Никто.
И он спешил куда-нибудь
На север,
На север!
И он спешил куда-нибудь
На север.

3

Жил-был юнец капризный,
Не слушался других,
Аквариум держал он
Для рыбок золотых,
Вдобавок –
Десять банок,
Ведро и таз
Для них припас.
Он не боялся темноты,
И демонов, и дев,
Он поднимался
До зари,
Не пив, не ев,



Бежал скачком
С удочкой,
С сачком –
Прыткую
Рыбку ловил.
И корюшку,
И ряпушку,
Как пальчики малышки, –
Вот горюшко
Родителям
Противного мальчишки, –
Он дома рыбок расселил
В кастрюльках,
В кастрюльках.
Он дома рыбок расселил
Во всех, во всех кастрюльках.

4

Жил-был один капризник
Довольно юных лет.
Пешком решил оббегать
Он целый белый свет.
В Шотландию явился
И сильно удивился:
Земля тверда,
Как в Англии,
Вода
Течёт,
И учат счёт.
Лентяев, как и наших,
Ждёт
Берёзовая каша.
В истрёпанной одежде он,
Оборван, запылён,
Смеялся –
Он и прежде был
С Шотландией знаком.
Он очень удивлялся –
Стоптались башмаки,
Стоптались башмаки.
Ах, как он удивлялся –
Стоптались башмаки.



Ночная птица

*В королевство цыплят сова
Является, подобно божеству.*

Дж. Макбет

Серый филин пролетает,
птиц мудрее не бывает –
он умней меня стократ –
серой вертит головою,
под снегами, под травую
ищет пищу на свой лад.

Пара огненных мерцаний
проплывает в мирозданье.
Ночь втекла во все углы.
Зрелище – моя добыча.
Филина прилёт привычен –
жуть чуть-чуть острее иглы,

потому что по крупнице
я слагаю небылицы
про всеведущий зрачок;
тех, кто запасает зёрна,
настигает он проворно,
долбит клювом в мозжечок.

Лёгкой пылью серебристой
на дуброве многолистой
тень могучего крыла.
Перелистывая перья,
ветер вычитал поверья.
Ах, как долго я спала!

В нашей сказочной истоме,
у предгорий в тёплом доме
всё надумано, как дым –
спящие забот не знают,
и молва, и участь злая
безопасна молодым.

Почему же сон глубокий
именно на эти сроки?



Сплю, как мёртвый, как изгой,
чтобы ранняя усталость,
не спугнула нашу старость,
чтобы теплился огонь.

Было: соловей весёлый,
а теперь всё больше совы
навещают по ночам.
Но спасибо и на этом:
филин мой зимой и летом –
ласка страстная очам.

Когти угольны и остры,
скачут тени – тени-монстры
в зачарованном окне.
Лишь для солнца уязвимый
филин мой неутомимый
в ночь беззвёздную при мне.

Когти мозга, когти сердца
цепко держат птичье тельце,
а душа его вольней.
Что за вопли? Что за звуки?
Сладко плакать о разлуке
в предвкушенье многих дней.



ЧЁРНЫЙ ОХОТНИК

(По мотивам казахской сказки)

1

Сколько на травах столетних росы!
Кто здесь мечтал о тепле и уюте?!
Чёрный охотник доволен и сыт,
он просыпается в поле – не в юрте.

Детского ора не слышно в степи,
скачут олени, куланы, маралы –
мигом стрелу в тетиву он крепит
и добывает великих и малых.

И от аркана его не уйти, –
кто воплотил – не мираж – заарканен.
Слава охотника в мире летит,
будто бы славу поют ему камни.

Шкуры и мясо, рога и меха –
всё разбирают довольные люди.
Вышел по травам – приходит в снега,
в снег – значит, к травам с добычей будет.

2

Охотничий рай без тоски и беды,
ни спутников не признаёт, ни товарищей.
Он так удалился от дома и вдаль ещё,
на север, на север он топчет следы.

Какая долина за этой скалой?
Верхом на пути со скалой не разъедется,
и конь в поводу, и добычей грезится
скала ему лучшей, иной стороной.

Гвоздики и мускуса пряная вонь
сшибают с копыт, конь уже запинается,
охотник идёт себе – опоминается,
когда обессиленный падает конь.

Сереброчешуйное скопище звёзд,
как стая рыбёшек, попавшая в невод,
костра развивается искристый хвост,
стегают котёл и уносятся в небо.

«Нет друга для трапезы», – вспомнил стрелок,
взглянул на коня в неотчётливом страхе
и в то же мгновение увидел у ног
какую-то женщину в длинной рубахе.

Сидит, в рукава дерзко руки сложа,
а дряблая шея в надувшихся жилах –
он лучшее мясо подал ей с ножа –
схватила зубами, рук не обнажила.
– Эй, ты, сверлоглазая, прочь от огня!
– Не гневайся, странник мой!
– Странные речи...
– Уйду, только ты ещё вспомнишь меня –
я весь ненавижу твой род человечесий!

Охотник подумал: «Хоть край здесь хорош,
но, встретив такую, навек ужаснёшься».
– Эй, Чёрный охотник! Когда ты уснёшь,
приснюсь тебе так, что потом не проснёшься!»

Охотнику скулы от страха свело,
хватал то халат он, то шапку, то потник,
и вот уж сидит, наклонясь над котлом,
одетая палка, как Чёрный охотник.

А сам он – в кустах, приготовил свой лук
и слышит – крадётся, и видит воочью:
колдунья подкралась и бросилась вдруг
на голову чучела – рвёт его в клочья.

Он выстрелил и промахнулся впервой,
а, может, стрелы для той нечисти мало...
Она обернулась, издав грозный вой,
он выстрелил снова, и ведьма упала.



Железные когти предсмертно скребли,
торчали зверино-петлистые уши...
«Немало другой со зверями земли, –
решил он наутро, – найду край получше».

4

Он будто бездомный, он бродит, он ищет,
уж он обносился, оборван, как нищий,
под ним его конь, непричёсан и худ,
и жаждет охотник наш крова и пищи.

Не радуется лето, не радуется утро.
Когда-то тиснённая золотом юхта
от солнца и пота истлела на нём.
Вдруг видит аул – только белые юрты.

На ловчих промчавшихся – луки, куруки,
как царственно повод сжимают их руки,
табунщик серебряным правит шестом –
не верит охотник, что кончились муки.

Жилой аромат его ноздри щекочет,
никто не спешит, не встречает, не хочет
омыть его ног, накормить, обогреть...
Так он неприкаянно ездил до ночи.

К закату двумя огневыми шарами
вдруг небо зажглось.
Сна и яви на грани,
он чувствует – взят его конь под уздцы
и едет в шатёр, весь укрытый коврами.

Драконы и птицы по стенам змеятся.
Охотник смущён: не начнут ли смеяться,
что прямо верхом он заехал в шатёр,
где боязно голой ступнёй прикасаться.

Невидимый подал кумысную чашу,
черпак золотою чеканкой украшен,
невидимый кто-то уводит коня...
И страшно – не сон ли?
Сон сладок – не страшен.

Спать готов он повалиться,
входит Звёздная Юница.
Потрясённый, он вскочил,
будто хан вошёл в покои.
Молвит та, махнув рукою:
– Сядь! Достоинство забыл?

Я – твоя. Пойдём, приляжем,
знаю я, как ты отважен –
ты назначен мне судьбой.
Облетела я полсвета
августовскою кометой,
вот и встретились с тобой.

– Госпожа, тебе не ровня –
пахну я звериной кровью,
не испытывай меня –
потом я пропах, немывтый...
Брось кусок кошмы забытой –
лягу я у ног коня.

– Милый мой, забудь тревогу,
завтра двинемся в дорогу,
станешь ты, как я, звездой,
но сейчас, пока мы люди,
свод небес моих забудем
и аул забудем твой.

– Божье, нежное создание,
не заслужено свиданье –
я любви не ждал в степи.
– Так порадуйся, мой странник,
только ты до зорьки ранней,
чёрный гений мой, не спи.

Если сон сморит случайный,
завтра будешь ты печальный –
мы расстанемся навек.
Снова стану я звездой,
станешь жить ты подо мною –
просто смертный человек.



Улетели звёзды с платья,
и они сплели объятья –
он пылал, она плыла,
и земля плыла под ними
им изыскивала имя
ночь, густая, как смола.

Где такая в мире сила,
чтобы их разъединила?
Посреди блаженных слёз
ждали скорого рассвета,
был он близок по приметам
и охотник произнёс:

– Я готов с тобой в дорогу.
Погоди, я вспомню Бога,
детство, дом свой, ремесло,
с чёрною прощусь землёю,
прежде, чем уйду с тобою
в небо, где от звёзд светло.

– Я уйду – уснёшь. Поверь мне –
сон к утру подобен зверю...
– Мне любой не страшен зверь...
– Только сон.
– Нет, нет, Юница,
просто Богу помолиться
я один хочу теперь.

6

Он уснул, и он проснулся
в одинокой пустоте.
Жаркой мордой потянулся
конь с репьями на хвосте.

От аула нет приметы,
только золочёный кол,
и к нему привязан светлый,
бело-сивой масти конь.

– Я бродил в степях напрасно,
зря скитался среди скал,



если счастье жить с прекрасной,
тёмный олух – я проспал.

С небом был я вечно в споре –
я боялся умереть,
а теперь умру от горя –
всё равно, какая смерть!

7

Год прошёл, он стал богатым,
не охотился в местах,
где любовь нашёл когда-то,
где забыл про смертный страх.

Раз, придя на это место,
дерзкий к Богу возопил:
– Отнял ты мою невесту.
Жить без жизни – нету сил!

Дал таланты зверолова,
отпустил немало дней –
каждое Юницы слово
жизни будущей милей!

Девушку верни мне – сжался!
Иль разгневайся – убей!
Женский голос вдруг:
– Мужайся, чашу полную испей.

Твой росток – сынок небесный,
так похожий на отца...
Звёздный мир мой слишком пресный,
без начала, без конца.

Забери сынка в подарок,
пусть, когда ты станешь старым,
он утешит грусть твою,
слёзы вытрет, обогреет.
Я же с неба посмотрю,
как душа его добреет.

И умолкла. Глядь, стоит
колыбелька в изумрудах,



в ней охотник новый спит,
правда, мал ещё покуда.

И с восторженной слезой
взял отец свою добычу
и в аул спешит, домой.
Как велит ему обычай,

собирает шумный той,
снова юный и красивый,
но порой грустит о той,
что осталась в небе синем.

Слёзы горя, счастья льёт,
всё подарки встречным дарит,
то смеётся и поёт,
то заплачет, зарыдает.

* * *

Подошёл незаметный денёк –
стебель вырос до точки предельной
и, стоящий в сторонке отдельно,
на обочине пыльной прилёт.

Но колосья, что скопом стоят,
напрягаются, рвутся повыше.
То не ветер колосья колышет –
над землёй прокалённой парят.

Ради хлеба и сушь, и полёт.
Хлебородие Ваше, склонитесь
пред косилкой! Подрубят – валитесь!
Хлеборобию вышел черёд.



Последний день августа

1

С чего это птицы распелись с утра,
под ними невидимо сжатое поле –
последний день августа вышел на волю.
Его ли та песня: «Пора, брат, пора».

Поврозь, вереницами, стайкой, гуськом
птенцы потянулись к горячему югу,
и песни прощальной не выплакан ком,
и кони по воле идут, как по кругу.

Плывут в серых травах по гребню горы
гривастые кони, склонившись понуро.
Всё дышит предвестьем осенней поры,
нежданной, недалней, дождливой и хмурой.

2

Портфель не разобран и с мая заброшен.
Давно ли? Уж август прощально палит,
а год ошарашен, а год огорошен,
цигарку из листьев опавших смолит.

И пруд обмелел и усох вполовину,
мальчишки пригнали напиться коней,
как сбитень, взбивают прибрежную глину
и невозмутимо купаются в ней.

Носы облупились, макушки белесы,
дублёные пятки сверкают в пруду,
и день предосенний надрывностью весел,
день – самый единственный в каждом году.

Грустный рассвет

Не косвенная, не прямая,
а скособоченная речь
дворовых псов,
бессонных сов.
И месяц облаком замаян –
ни пасть ему, ни сесть, ни лечь –



сиротский взгляд,
хоть звёзды в ряд.

Он над землёй повис, как коршун,
и нет светлее светляков,
чем склянки рос
с сияньем звёзд.
А лунный час, чем дальше – горше
глядит из бледных облаков –
не знаменит
его зенит.

Из комнаты с горящей лампой –
в окне надменно и темно,
но темнота
уже не та.
Дымится утро над баландой,
землёй заваренной давно.
Чуть первый блеск,
и крыльев всплеск.

О, вся экзотика известна:
отныне, присно, прежде, впредь –
с осенним злом
и год на слом.
Есть благо лиственного леса –
под осень стариться, желтеть
и ясным днём
гореть огнём.

Сентябрьский день куда короче,
чем ночи сентября, и хмур,
почти белес
под утро лес.
Заря – обломок белой ночи –
не сдержит бешеный аллюр –
несёт рассвет,
ей горя нет.



* * *

То не запах вина из даильни,
мир забрызган дождём,
листья ссыпались, что же мы ждём?
Пустоты на земле изобилье.

Понабухли оконные рамы,
им не втиснуться в переплёт,
жёлоб звонкими струями бьёт,
бередя в почве рытую рану.

Водосточный, а нравом восточный,
жёлоб притчу об осени льёт,
а уж снег – цветом липовый мёд –
заметался у тёмных обочин.

Этот медленный, медленный год
лучшей осенью переломился,
тихо снег ночью в окна ломился
и придержививал времени ход.

Но на стенке упрямы, как вол,
ходят ходики. Шепчут пружины,
вдруг назло временному режиму
стали, гирькой ударившись в пол.

Всё ли кончено?
Всё ли молчит?
Всё ли впало в глубокую спячку?
Как моряк на побывке, враскачку
древо движется, в стену стучит.

Станут оттепель, ветер и свет
нарушать омертвенье пространства.
Нет покоя и нет постоянства!
Их в природе, в природе их нет.



* * *

Стоит зима, как чаша с халкидоном.
Зима – немилосердная мадонна,
и космос ощутимо ледовит,
но музы безупречное легато
кровоточащей раною заката
надвинувшийся холод розовит.

Пространство всё скрипичными ключами
увешано и белыми ночами
играет так, что не тревожит сна,
где торжествуют зовы, переклики;
приснилась мне корзина земляники,
вся, как закат безвременный, красна.

Но лес в снегах увяз, и волки воют,
в домах стоит искусственная хвоя
в блестящих безделушках из стекла.
Нарядим ёлку при любой погоде...
В круглогодичный праздник новогодний
мне хорошо без дома, без тепла.

Мне весело в жужжании снежинок
вступить судьёй в неравный поединок
тепла земли с холодной зимой
и слушать среди сосен покаянно
чугунный стон угрюмого органа,
и знать погоню снега за собой.



СЕМЕЙНОЕ ПРЕДАНИЕ

* * *

Этот образ не странник, а беглый беглец,
в нём духовность энергию переборола,
беглецует романтик и вечный юнец,
единенья поборник и воин раскола.

В отысканье родства ему удержу нет –
всех берёт, повстречав на российских ухабах,
кто там стёклами блещет очков и карет,
путешествует с живностью, слугами, скарбом,
кто обочиной бродит в сермяге гнилой,
кто шестёркою скачет по пыли во фраке,
кто уснул при дороге, накрывшись полой,
кто богат, кто беднее последней собаки.

Но однажды туда, где ленив домосед,
поскребётся, как нищий, и вломится в двери.
Поглядишь, а пришелец сановен и сед,
пожалеешь, а он подорвёт тебя в вере.

В той единственной вере, в последней, в себя,
что как идол незыблема, медноголова,
и пошлешь себя в путь, о покое скорбя.
Только этого и добивается Слово.

Был ты странник терпимый, а стал беглецом.
И чего тебе надо? Ты чем недоволен?
Вдруг в бесприбыльный поиск ныряешь с концом,
сам, как русское слово, тревожен и волен.

* * *

Поблизости счастья и лиха
мечусь русошёрстной зайчихой:
я – зверь в соколиной погоне,
добыча в собачьих клыках...
И всё-таки это терпимо –
опасность проносится мимо,
и входит подобье покоя,
нетвёрдо держась на ногах.



А кто-то гитару терзает,
покуда ямщик замерзает,
и ржавой железной решёткой
зализгал последний вагон.
Кто ведает пункт назначения?
Откуда сошло поученье?
Ах, аспид мне с миною кроткой
бубнит стихотворства закон.

В исползанной змеем пустыне,
в солёной твердеющей глине,
в краю, где убийственна кобра,
хочу я пожить, не страшась
мгновений недоброй науки,
в которые дивные звуки
ширяют с небес и под рёбра,
невинно при этом божасть.

Ты знал, полуночник недрёмный,
о жизни моей подъярёмной?
Ты думал, я всё поделила
под цвиньканье юных синиц?
Но храмовую тишиною
дружатся со мною одною
диктанта нечистая сила
и гладь непорочных страниц.

* * *

Пока я шишигой бродила в лесах,
с корнями болтая, травую, водою,
на самых великих вселенских весах
мне кто-то сверх меры отвешивал долю.

Всех тварей земных я бралась причащать:
синиц, гусениц, даже жаб не гнушалась,
на птичьем наречье училась вещать...
Велик Весовщик! Он прощал мою шалость.

Свистел ветерок по макушкам берёз,
любил, соблазнял и бросал их распутно,
немало берёзовых пролито слёз –
мои о себе проливались попутно.



Побег землеройки в нору просвещал,
игольчатый наст – под босыми ногами,
о жизни кузнечик в траве верещал,
все звери и птицы мне были богами.

Луч солнца дыру в облаках провертел,
египетская муравьёв пирамида
затянута чёрною сетью из тел... –
тоска – тот разброд прихожанам Евклида...

Здесь всё неожиданно, свыше наук:
комедия нравов и хищная драма,
вьют гнёзда и кормят потомков вокруг
под оком творца животворного храма.

Вступление зимы

Луна пророчеством порочающим
омыла лысые вершины.
Сама, сбегая по урочищам,
на дне оврага копошилась.

И скоро золотом награбленным
свой путь устлала до зенита,
в берёзах, побелу искрапленных,
терялась светом знаменитым.

Снег у луны про горы выведаль,
деревья поднимались дыбом –
их гребень-дождь за осень вымотал,
теперь их мокрый снег надыбал.

Предзимний сад простёрся пристанью,
к нему причаливали горы.
Окно избушки смотрит пристально,
как лезет снег через заборы.

Дома, как гости белой вечности,
у гор застыли в полукружье,
с неповторимую беспечностью
снег выступил предтечей стужи.



Бесшумно ночь снега обрушила.
Мир спит, никто зимы не слышит.
Лес в кружеве, дома без кружева –
сосульками не пахнут крыши.

Смирённый снежными завесами,
в поклоне одухотворенью,
накрытый белыми компрессами,
казалось, дуб страдал мигренью.

Уже сибирскими воронами
в горах украшены все ели,
коряги, камни под коронами
снегов – узнаешь еле-еле.

Так снегом влага иссушается,
зима всем чувствам подыграет,
но тишь такая продолжается,
что слух, как мамонт, вымирает.

* * *

Долготерпенье долго лгало,
смущало мистикой снегов,
рельс параллельность завлекала
сбежать от всех своих долгов.

От недопетых белых строчек,
недовоспитанных детей,
от всех посуды, супов, рассрочек,
от всех навязчивых людей.

В нелепой белизне экстаза
чужие рыскали снега
и обещали разом, разом
жизнь переделать на века.

И вдруг потребовали платы,
душевной боли, наготы –
чужое тоже было свято,
непознано и непочато,
не навевало простоты.

Мной овладела бессловесность –
Россия бредила по ней,
всех соблазн яла неизвестность
отпущенных грядущих дней.

И беззащитны перед снегом,
хранимы маленьким теплом
фонарных лампочек под небом,
разлуку мы назвали злом.

Молчи, пустыня снеговая,
не отрывай меня от тех,
кому нужна, как таковая,
не ради праздничных утех.

Молчи, бескрылая равнина,
смири свой бессловесный вой –
я верю, что вернусь с повинной,
побег окупится с лихвой.

Там будут рады и, прощая,
такие сети наплетут,
что впредь, бежать не запрещая,
освободиться не дадут.

Но что за штука, тянет глянуть
на мир. Так, славься поводок
тоски по дому! Белый глянец
не мной накатанных дорог

мне не заменит трёх созданий,
живущих дома без меня,
они привычкой ожиданья
мне заменяют мирозданье
и облегчают злобу дня.

СЕМЕЙНОЕ ПРЕДАНИЕ

Средь красавиц горделивых,
и бесстрастных, и сонливых,
беспечальны дни мои.
Стать мне матерью семьи



вышел срок, в конце концов –
посылаю трёх гонцов.
Первый мчит поверх небес,
понизу гора и лес,
поле, море без предела,
а ему какое дело –
он – проворнее стрелы,
обыскавши все углы,
отыскал, кого мне надо,
получил свою награду,
но ему и дела нет –
на письмо я жду ответ.

Послание первое

Апеллируя к рассудку,
я прошу вас на минутку
ту бессмысленность представить,
где изволили оставить
юную свою жену
без присмотра и одну.
Жить желая в честном браке,
прозябаю я во мраке.
Ту египетскую тьму
в толк никак я не возьму.
Платья, слуги – жизнь моя –
монастырь, а не семья.

Но гонца мой адресат
без ответа шлёт назад.
С горя нет на мне лица,
и второго шлю гонца.
Он летит чуть ниже неба,
в путь не брал воды и хлеба.
Поздней ночью, ранней ранью
рыщет он на поле брани,
но того, кого хотел,
не нашёл средь мёртвых тел.
Он – к живым. Мой князь сидит,
безучастно вдаль глядит.
Взял послание неспешно
о тоске моей кромешной.



Послание второе

Милый друг, душа моя
дольше ждать уже не может –
чёрная тоски змея
душу гложет, душу гложет.
Эту муку день и ночь
ей (душе) терпеть невмочь.
И прошу я позволения
навестить вас в том краю,
где запал преодоления
губит молодость мою.
Или в дальней стороне
вы забыли обо мне?

Где ответ его простой,
хоть не письменный – изустный,
назидательный иль грустный?
Вновь гонец пришёл пустой.

Третьего зато гонца
снаряжала, как отца:
варка, жарка, вялка, сушка,
пять поддёвок на мерлушках,
двадцать новеньких подпруг,
сотня самых крепких слуг.
Сумку, где лежал стишок, –
в сумку, а потом в мешок,
после в кожаный мешок.
Шью сама суровой ниткой,
не доверив никому, –
ходит войско за калиткой,
ждёт послания к нему.
И платочком долго-долго
я махала той пыли,
что клубилась на дороге,
честно зыбилась вдали.
В ямы падал мой посланец
и тонул среди болот,
ранних льдов прозрачный глянец
не пускал сквозь реки плот.
Обносился, съел припас,



как его господь упас,
если бор сбивал с дороги,
даже скромный холм пологий
поднимался, как стена,
гасли звёзды и луна.
Но не струсил мой гонец
и добрался, наконец.

Царственный мой адресат
никого не гнал назад.
Соколиный взгляд остёр –
взял мешок, проверил нитки,
завязавши вход в шатёр,
все извлёк на волю свитки.
Третий свиток мой особо
привлекал его особу.

Послание третье

Если ты, собачий сын,
думаешь прожить один,
сообщи о том немедля.
Я с цыганкою намедни
прогулялась до угла,
и она мне предрекла
двух мальчишек и девчонку.
Если ты тут ни при чём,
разъязви тебя в печёнку –
всё равно ты обречён.
Знать не знаю дурака,
что меня одну оставил,
жить бобылкою заставил.
Сохнет грудь без молока.
Вся утроба взбунтовалась
и не терпит пустоты.
Чем бы я ни занималась –
на уме, в душе лишь ты.
Если ты мне предназначил
без наследников судьбу,
то и мне уж лучше, значит,
увидать тебя в гробу.

И попробуй, князь – мой свет,
не подай сей миг ответ!

Говорят, он бесновался,
в тот же час домой собрался.
С воплем: «Чёрт меня носил!» –
гнал коня что было сил.
Весь в пыли с дороги дальней,
не держался на ногах,
сам небритый, в сапогах
завалился прямо в спальню.

Недосуг мне продолжать –
я пошла дитя рожать.

На Каспии в марте

В заливы лебедей прибьёт к утру
гудящий домовый пространств пологих.
Всё зная про каспийскую жару,
перевеснут март, и вновь – в дороге.

Прильнуло к звёздам зренье вожаков.
В груди моей тоска гнездится комом
на сто былых, сто будущих веков
в предчувствии, что смолкнет птичий гомон.

Вселенная, упавшая вверх дном,
кишит живыми в лётную погоду –
туда, где птичий предок строил дом,
переселяются пернатые народы.

Залётный гость к отлёту лебедей,
гуляя этой низменной равниной,
от имени всех на земле людей
за птиц исходит болью исполинной.

Мы знаем, патриотов здешних мест
с весенней геометрией небесной
предчувствие беззвучья не заест –
и здесь кулик есть со своею песней.



Где ходят дромадер и бактриан
царями в душегрейках безрукавных,
пичуга-пастушок от всяких ран
излечит свистом в пустоши бестравной.

Для местного всем этот край хорош:
бескрайностью, родной звездой в зените.
Пришит к земле путей и звёзд чертёж:
Стежками – фосфорические нити.

В краю ветров, колючек и камней
на звёздном небе надписи: во-первых, –
«Нарисовал всё это Птолемей»
и, во-вторых, – «Исправлено. Коперник».

Ода к Психее

(Из Джона Китса)

Прислушайся к беззвучностям бесщётным,
О, принуждение не жить – вспоминать,
О, жажда это в звуки облекать
И разглашать легко и безотчётно.
Недоочнувшись пренебрегая телом,
Душа моя, как бабочка, летела.

В лесу едва я удержал сознание –
От неожиданности свет в глазах померк,
Когда высоких трав качнулся верх –
Там, в травах, возлежали два создания,
Там травы из невидимых истоков
Насытились и поднялись высоко.

Спокойствием весь мир вокруг балуя,
Они лежали в травах без рубях,
Их губы не сливались в поцелуе
И не кривились в клятвах и мольбах.
Безгрешно крыльями они переплелись,
Им дрёму неги насылала высь.

Рассвет застал их, ждал и не дождался,
И миновал, и солнца свет кругом...



Крылатый мальчик мне давно знаком,
Психея – девочка, о ней я догадался.
Любовью зрение обострено –
Я видел их, как существо одно.

От олимпийских мраморных богов
Отличные, как серое от сини,
Волшебней Феба, Веспера всесильней,
Они светились средь земных лугов.
Их подлинность ясна без прорицаний,
Без пенья девственниц и струн бряцаний.

Часовни нет – они не сочетались.
Что сладкий ладан? Опоздал обряд,
Свирель нема, светильни не горят,
Молитвы в честь любви их не читались,
И с бледных губ пророка никогда
Не достигнёт пророчество сюда.

Могу ли уверять, писать стихи
О том, что божества в лесу бытуют?
Вода и воздух, и огонь пустуют –
Святого нет в природности стихий,
Но страсти благочестия блаженней,
И тени стерпят все преображенья.

Пою про всё на свой лишь риск и страх,
Позвольте полночь огласить молением,
Быть флейтою, часовней, вдохновеньем,
Церковным пеньем, служкой на хорах,
Позвольте дымом ладана истечь,
Но превратить духовность в слово, в речь.

Позвольте мне побыть всеведеньем пророка,
Неистово ревущего о том,
Что на утёсе, каменном, седом,
Пророс один шершавый стебель дрока.
Где горсть земли удержится едва,
Всесильней мысли режется трава.

Пусть век спустя, над этой крутизной,
Одетой тёмной и волшебной чащей,



Птенцы и пчёлы пролетают чаще
И льётся ветер, тёплый и сквозной...
Я так старался, украшал отменно –
Там нимфы расплодятся непременно.

Фантазия – садовник и гранит одушевит,
Чтоб был не так печален.
Посмотрит небо звёздными очами,
И кто любви крупницу сотворит,
Тому оно пошлёт Психею-душу,
Полуночного бреда не разрушит,
Таинственным виденьем озарит.

* * *

Гербарий мой – трагедия Шекспира,
засушенная в полушарьях мозга –
пиковый туз с приманкой мандрагоры,
владелец гиппократова лица,
зачинщик мысли в ночь её зачатья,
отец жестокий девочки своей –
старушки Флоры в пропылённом флёре.

Шекспиров выкормыш, подкидыш от искусства
и пасынок любимого народа,
что, в общем-то, не отпрыска позорит –
невинного приносят в подоле
и в том винят, в чём сами виноваты.

Владелец. Чем владел? Одним собою.
Невелико именьё – с молотка
распродано и ходит по рукам,
но злом не отвечает на злословье,
несёт сухую мускусную розу
и лжёт, что сладостны воспоминанья.

* * *

Весною ранней липа и калина
поют дуэтом Лизы и Полины.
Классическую видим пастораль:
сплелись макушками, и слышится мораль
невинности и чистоты природы,
но вот пришло другое время года.



Калина тёмная, погрязшая в грехах,
а липа думает, что всё в её руках,
и светлой желтизною-сединою
она теперь гордится пред сестрою.

В дырявых кронах на дорогах-тропах
осенней тучи заплуталась пропасть.

Их перелётные мирить пытались птицы,
но ссорятся две вздорные сестрицы,
пока зимы дыханье не повеет
и наготой не примирит обеих.

Август

Теплом и хлебной пылью
повеяло с полей,
хребтину жрут кобылью
тьмы, тьмы и тьмы слепней.

Звон южных птиц-весталок,
как сорок сороков,
а стаи здешних галок
кочуют близ токов.

Кипит в полях работа,
и вечен, и не стар
до устали, до пота
гуляет хлебодар.

* * *

Сегодня к нам из сада
в окно влетело стадо –
голов пятьдесят или сорок
дородненьких божьих коровок.
Наняться к Богу пастухом,
чтоб на кузнечике верхом
хоть день побыть при Божьих тварях?
В ночное вечером отправлюсь...
И там напишу кистью пылкой
«Купанье зелёной кобылки».



* * *

Подорожник выдал мне
лист охранный, подорожный.
И теперь проехать можно
в край любой по всей земле.

Веси, горы, города...
Вот же, экая досада –
можно ехать, а не надо,
ведь не тянет никуда
за предел родного сада.

Встреча с песней

Нужней сегодняшних светил
погасшие когда-то звёзды.
Он к жизни многих возвратил –
не поздно всё начать, не поздно.
Вот ностальгическим ключом
ведущий нам отверзнет душу,
а там наставником, врачом
то слёзы льёт, то наши – сушит.

Вергилий в песенном раю,
в саду мотивов и мелодий
печётся, бросив жизнь свою,
о Богом брошенном народе.

Воспоминанья уравнил
в правах с сегодняшними днями,
и бездны памяти объял,
и правит бал, и правит нами.

Нет мысли более простой,
нет мысли более учёной –
где плакал Пушкин и Толстой,
сыскалось место Пугачёвой.
Осеннее угрюмство тьмы,
лаская души и умы,
неделю целую крепчало –
дыша гармонией в гармонь,
не гаснет по домам огонь.
Жить? В пятницу начнём сначала.



Март

Происхождение звуков найду –
их родословной исписано небо,
только всё в тучках оно на беду
и зарябило волокнами снега.

Этот снежок и разбойник, и лгун:
ловчие лужи присыпаны ловко,
скрыла заборы, легла на чугун
снежная россыпь – узора воровка.

Здесь мегаполис залётных ворон –
парк переполнен вознёй предотлётной;
да не великий нам будет урон.
Къш! – до зимы чтобы бесповоротно.

С крыши сосулька свалилась со сна,
день – капельмейстер вселенской капели,
юной медведицей дышит весна
в недрах зимы, как в огромной купели.

Ну, подымайся, пойдём колесить,
поотрываем от берега льдины,
талые воды пора нам вкусить,
зеленью серые сбрызнуть картины.

Символы

Нелегко мне писать о цветах, о траве,
нелегко мне порхать по деревьям лесным,
потому что Иуда засел в голове,
потому что спознались напрасно мы с ним.

Потому что был труженик тот лиходей,
что засыпал в карман пересчитанный грош,
потому что выходят на розыск людей
от учительства этого честные сплошь.

Можно уксуса выпить за совесть его
и свою прозорливость в мятеж обратить.
Мой невиннейший сад – лишь арена того,
что в веках человечность не может простить.



Мой прозрачный лес
вот уж двадцать веков
полон страшных осин и, как факел, смолен,
поцелуй стережёт и других смельчаков,
и как провод, бесчувственный торс оголён.

Слышно мне, совершилась поимка в саду,
тихо, комом стоят птичьи трели в зобах.
Вот какие я страсти вожу в поводу,
за верёвочку, полную чистых рубаш.

Памяти Николая Бруни

Упал самолёт и убит авиатор,
но дева Мария пришла воскресить,
а он ей навстречу купцом тороватым
обеты-обеты-обеты творить.

Поклялся служить православной святыне.
Служил, но сторел опекаемый храм...
«Мари! – древний росс произнёс по-латыни. –
Расстригла для искусов новых и драм?»

Бывало, его прихожане просили...
Из светских читает с амвона стихи –
его урезонят – резоны тихи,
он лишь возразит: «Это всё о России».

Всё так и сошлось, он служил в оный год,
угодный последней молитвой над Блоком,
и начал с творений умершего Бога,
и плакал святыми слезами приход.

Отец, авиатор и скульптор, при том,
священником бывши, в косице и рясе
частенько являлся по снегу и грязи
играть на рояле к Чайковскому в дом.

Таким и годился народу в пример,
да холмика нет, чтоб улечься гвоздикам...
Его пристрелили на Севере диком,
как прочих, из высших явившихся сфер.



* * *

В дырках спецовка пророка, провидца.
Что-то народ от него сторонится,
ох, не торопится в лад затянуть
песнь о спасенье души в покаянье...
Не было хуже, и нет окаянной
тех, кто вселенский указывал путь.

Совесть моя, поводырь мой убит,
ходишь вслепую по ямам, ухабам.
В спину пихнёт и словечком похабным
ухо огреет соратник-наймит.

Бесчеловечностью жив человек:
толпы перстами нацелились в раны,
в свалку и драку, и выговор бранный
тьмы утекли человеческих рек.

Кровью зарезанных писан забор,
вымокла краснокирпичная кладка...
Как я огрузла грехами с тех пор,
так же стихами набухла тетрадка.

Ревность терзает к тому, кто любим
в клятвах и жалобах, в рваных нарядах.
Дождь с понедельника, как по наряду,
лётся соперничать с плачем моим.

В космосе нашем, в греховном краю
мокрое место – осенняя слякоть.
Мне не под силу весь мир переплакать...
Разве за всех отмолюсь, отпою?

Я увернулась от стрел и камней.
День отошёл, слишком рано темнеет,
смертно, закатом душа пламенеет,
смертному поздно крушиться о ней.

Вышла старушка, и хлюпнула дверь,
память убоже мышонка-сиротки.
Молох вселенский, бесчувственный зверь,
миг покаянный, и дерзкий, и кроткий.



* * *

Вавилон отъезжающих – сто языков,
а из музыки – только тарелки оркестра.
Мы в страну дураков из страны дураков
направляемся жить – там нам самое место.

Громче соло отчаявшихся буферов,
угорелые клятвы сменились слезами...
Так прощайте! Ужо наломаем мы дров!
Признаём, извиняемся, мучимся сами.

Ну, коптильная смоль, все мосты подпали!
В мире нет городов для житья непригодней.
По колено в полыни, по горло в пыли –
одноглазый фонарь – эмиссар преисподней.

Наша юность – бездомный, безденежный край,
где, как ветошь, тебя ветры Азии треплют.
Вся в коросте душа. Ты ей солнце и рай,
а она затоскует о прахе и пепле.

1863 год

Эта песнь живёт с времен
ссылнокаторжных дворян.

С Петербурга всё пешком,
со студенческим мешком
предок мой идёт в изгнание
всем потомкам в назидание.
Сквозь леса, равнины, топи
в соляные гонят копи.
По Владимирке к Уралу
отмахал он вёрст немало.

Вижу: бабы в том краю
бьют прабабушку мою,
за литвина не пуцают
и неметчиной стращают.
Молодухи и старухи
чуют деда в тощем брюхе.



Лупят брюхо батогом,
обзывают поляком.

Прадед мой смертельно болен,
поистратил к жизни волю.
Помирал не на войне –
в Оренбургской стороне.
На Елецкой, на Защите
его косточки ищите.
Нищим – нищая земля,
пересохшие поля,
голод, холод и побои,
небо чёрно-голубое.

Прадед землю повидал,
кобылятину едал.

* * *

В Камбарке мать малину продавала,
стоял несытый двадцать третий год.
И эта родословная, бывало,
теперь меня нет-нет да попрекнёт.

Ведь мой отец, когда на ней женился,
дворянский титул прадеда скрывал,
когда он всё на свете потерял,
вдруг в казакин шляхетский обрядился.

Но я всегда, как бабушка и мать,
стояла за крестьянство – не дворянство,
я землю обучалась понимать,
пристрастье мамы к ней и постоянство.

Ведь радовались все камбаряки,
что в восемь лет, сквозь пустоши разрухи,
вплавь одолев две буйные реки,
она малину сыпала в кульки,
а о дворянах были только слухи.

Фроловской дачей назывался лес,
где тридцать лет спустя беру малину,



лес был со мной в родстве наполовину –
по материнской сказке в душу лез.

Случайность совпадения имён
меня не волновала, а смешила.
Грибов и ягод столько было в нём,
что я нарочно медленно спешила

и выплывала павой с кузовком,
и прямо в Каме отмывала грузди...
Когда ж неслась вприпрыжку и бегом,
всё пребывала в безысходной грусти.

Никак не выпадало мне зари,
чтоб продавать малину за медяшки.
Я лакомством считала сухари
в тот год, моим плечам ещё не тяжкий.

Моя вымершая деревня

Лоснится название унылого Мыса,
он Масляным звался, но нет здесь коров,
в амбарах пустых не пошарится крыса,
добротные дома лежат кучей дров.

Висит расписание дежурств от пожара,
ненужный растаскан давно инвентарь.
Я помню, нас с бабушкой мгла окружала,
и мы по деревне дежурили встарь.

Истлевший плетень и пригорок горбатый,
здесь тёсом обшитый стоял её дом,
соседи его называли «богатый»,
богатство его поняла я потом.

Владел дом огромною русскою печкой,
над ним надувался берёзовый дым,
он чёрен, как смоль, он с отгнившим крылечком,
в нём запах калины смешался с грибным.

Дежурствами тоже мы были богаты:
тащу медный колокол я за язык,

а бабушке посохом служит лопата.
И звёзды... И филина сумрачный зык.

Из бочки, воткнутой по горло в болото,
всплыла и взошла голубая луна,
я втайне уже поджидаю кого-то –
для жизни была мне деревня годна.

Всё можно снести, но такие потёмки
душевно здоровым не снятся во сне.
С кого бы спросить, почему же потомки
скитаются где-то в чужой стороне.

Вольная глухомань

За грибами шла кругами
девка малая и вот:
провалилася ногами
в жижу газовых болот,
как со страху заорёт:
«Мама! Матушка! Тону!
Ой-ёй-ёй, иду ко дну!»

Мать пришла тайком, межами:
«Что ж ты, дурочка, орёшь!
Пригуляют каторжане,
от кондратия помрёшь.

В нашенском краю пустом
не найдёшь святых останков –
под сосною, под кустом
встретишь беглых арестантов.

Ни церквей, ни прихожан –
сорок бочек каторжан.

Не ауйкайся, не пой,
не сворачивай с дороги!
С нашей вольницы глухой
унести бы руки, ноги...»

И колотит баба дочку,
и тихонько говорит.



Ждёт-пождёт слепую ночь
беглый в зарослях раки.

Свет ночами не заводят,
не видать крестов-дымов...
Ходят-бродят, ходят-бродят
супостаты без оков.

Воспоминанье о козе

Чья очередь кормить зрителя коров?
Туда же я, в тот двор явилась подучиться.
В печи трескучий жар от суковатых дров,
снаружи дома жар с утра стоял таков,
что прямо налету зажаривались птицы.

Корыстной я была – хотелось знать азы,
как мне трудами рук в деревне прокормиться...
Два полные сосца торчали у козы,
дою, она орёт, а бабушка в больнице.

Всё блеяла коза, в сарай меня звала,
я сельскому житью была уже не рада.
Пастух, включив мой пай в складчину от села,
обузу взял мою в своё коровье стадо.

Рассвет полынью, пылью полыхал,
весь белый день тянулось это действо,
в ромашковом лугу резвился и порхал
парнокопытный скот – член моего семейства.

Назад всю колокольню гнал пастух,
обваренный жарой, когда спускался вечер;
упревший до кондиции петух
из крайнего двора трубил тем звонам встречу.

Я шла встречать – в ромашковой кайме
закатом пыльным веяла дорога,
коза, истосковавшись обо мне,
пускалась вскачь по пустоши отлогой.

На лунном блюде ночь прозрачна и ясна,
и видимо родство всего со всем воочью.

Там не приснилось мне летательного сна,
почти не снятся сны врастающему в почву.

Воспоминанье высечет слезу
и, может быть, вовеки не простится:
родную бабушку оставив на козу,
козу – на бабушку, я ехала учиться.

Движенье было для меня важней
существованья, жизни как предмета.
Чем больше лет, тем слезней и нежней
идиллия загубленного лета.

* * *

Вот домик-завалюха,
живут здесь пёс без уха,
сто птиц, мышей до чёрта
и старая старуха.

Давно рассохлись ставни,
герань в окошке главном,
и крыша звёзды ловит
дырою стародавней.

Живут своим законом
с дырявым частоколом...
Ругают супостатов –
прохожих незнакомых.

Такая тем награда
за то, что из ограды
драть посохи и палки –
их главная отрада.

Лишь патефон старинный,
почти уже былинный
старушке одинокой
украшит вечер длинный.

Сквозь щёлканье, шипенье
едва уловишь пенье,



но у хозяйки дома
железное терпенье.

«Калинки» и «Малинки»
со старенькой пластинки –
по довоенной жизни
весёлые поминки.

Дарит фонарь заблудший
неполноценный свет.
Обетованней, лучше
деревни в мире нет.

Подмастерье пророка

1

Тягучее лето – отечество странника,
невидные затравенели тропинки,
то песнь перепёлки из недр конопляника,
то свадьбой звенят, то справляют поминки.

До ночи не молкнут сорочие жалобы,
до ночи возня в почерневшей скворешне,
и до свету снится земля небывалая
побитой скворцами неспелой черешне.

И странник томится. Пока отобедают
хозяин с хозяйкой, он вежливо терпит,
слушает говор, проникнется бедами,
похвалит квасок, перекишлый и терпкий.

Уже засветили светильню убогую –
по лицам слепцом беззастенчивым шарит;
есть счастье у странника: перед дорогою
соснуть на овине, где пахнет мышами.

2

– Обольщённый пустынной дорогой прохожий,
подмастерье пророка, взойди на порог,
сотвори нам обряд, хоть на что-то похожий,
надкуси наш ржаной деревенский пирог.



В нашем доме младенец не спит в колыбели,
без вины нашей козье горчит молоко,
распевать по часам петухи оробели,
наш отец за другою ушёл далеко.

– Своевольно озёра баюкают гнёзда,
в камышовых плетёнках уснули птенцы.
Этой ночью горят домовитые звёзды,
и по ним исправляют дорогу отцы.

Спи, наш маленький праведник косноязычный,
горе-горькое глянет и мимо пройдёт.
Задремали в гнезде у синички яички,
воробышко приплода под стрехою ждёт.

– Ты возьми-ка наш хлеб во льняном полотенце
да ступай со двора – есть дорога своя.
– Что ж ты, матушка, гонишь? Куда же мне деться?
Али хуже собак я, козы, воробья?

– Мой ребёнок уснул. Твоя доля – скитаться –
не приснилась бы сыну в предутреннем сне.
Почитай странноптичьи гулливые святцы
беспокойным младенцам в иной стороне.

– Благодарствую, дом. Бог с тобою, хозяйка,
не приснится того, что случилось встарь,
как в богатом селе нас дерёт пустолайка,
как поют погорельцы за горький сухарь.

Любовь

Почти истлела смертная бумага,
отцовскую гармонь достала мать,
да пуговики страдальчески терзать
не разумел наследник-бедолага.

Под окнами у девицы сидит,
транзистор захлебнулся серенадой,
она в окно сквозь вышивку глядит,
да только, видно, ей его не надо.



Кого-то ждёт деревни сухота,
наверно, принца неземного вида, –
навет злокозненный та красота –
любому красота её – обида.

В глазах её, что вольны присушить –
ты в зеркале – никчёмный замухрышка.
Надеялся с достоинством пожить,
взглянул разок, и всем надеждам – крышка.

Сердечная змея чужой тоской
насытилась, в небесных снах витает.
Серебряной архангельской трубой
журавль последний замыкает стаю.

Октябрьской влагой тяжелы думы,
лак льда блестит с колодезного сруба...
Ждёт... то ли с Кушки, то ли с Колымы...
Засуха, ведьма, аспидка, отруба!

Сам глаза опустит ниц
перед ликом недотроги,
сокрушится: «Перезреешь!
А сейчас твой взгляд, как нож!
Ну, гляди, заморский принц!
Лучше уходи с дороги!
Охромеешь, окривеешь,
будешь ты на нас похож!»

Вот моя деревня

Петух орёт, как злая тёща:
«Мужик, ошкуривай бревно!»
Пять мужиков с порубок в роще
пришли во двор давным-давно.

Проспал горлан краснобородый,
в дому не заводили свет,
бревно втащили с огорода,
чтоб с улицы не вывел след.



Там ходит-бродит участковый:
зануда, пьяница, дурак,
запрет отыщет бестолковый –
не отобьёшься от бумаг.

Смолистый дух еловых шкурок
на расстоянье в ноздри бил,
да участковый тот, придурок,
заспиртовался, нюх сгубил.

– Кому, мужик, хоромы ладишь?
– Задует с нижнего венца,
и не захочешь, а украдешь,
купить? – не водится купца.

Он к браконьерству не охотник.
Просить? Да он уже отвык.
Сам каменщик, стекольщик, плотник,
порубщик, пахарь и печник.

Подглядывает за работой
через плетень соседский скот,
приполз, ночной гульбой измотан,
жилец подпечья – серый кот.

Покорно справит новоселье
сухое звонкое бревно.
Починят дом, пойдёт веселье,
такое выкажут кино...

Не улицею на другую –
дерутся все, допив до дна, –
здесь бьют и тещу дорогую,
поскольку улица одна.

Без пользы надрывался кочет,
не разогнал крестьянской тьмы.
Как муравейник, Мыс хлопочет,
забытый Богом и людьми.



* * *

Здесь лудили и ковали,
плавали по Каме ввысь,
красных девок разбирали
из Голанова на Мыс.

С Мыса самых работающих
сватали камбаряки,
и дородных, и ледащих
поставляли в Дубняки.

Но зато в престольный праздник
здесь гульба и кутерьма,
едет люд родной и разный,
в свечках церковь, двор, дома.

До сих пор ещё дорожки
вас ведут в Егорьев храм,
да на стыке рожки-ножки –
не родня святым дарам.

Сельсовет гордился сносом,
а теперь по деревням
мужики и бабы с носом –
помолиться ходят к пням.

То найдут следок подковы,
то чешуйку от змеи –
он не гордый, он рисковый
рыцарь неба и земли.

Не случись в бору Егорья,
глупость пестуя свою,
среднерусское нагорье
вымерло бы на корню.



Цыгане

1

Побрели, восславляя простор или пир,
цыганят многоцветными юбками скрывши,
над собой не видали надёжнее крыши –
было солнце – брильянт, было небо – сапфир.

Оборудован был целый мир для гаданья,
плясок, песен залиvistых, чтобы к концу
тёмной ночи в ушко мироеду-купцу
прорыдать: «До свиданья, мой друг, до свиданья!»

А якшались с травой, с жильцами руин,
для иных и без платы они танцевали...
Вот недавно лапландскую розу назвали
экзотическим прозвищем «Джипси куин»¹.

Все народы земли по большим городищам
наторели урокам цыганским внимать,
позабыв обо всём, кошели вынимать,
выбивать из бочонков замшелые днища.

На разбойных дорогах и в малом селе,
точно боги, они вездесуци меж нами,
и с иными не смешивался племенами,
может быть, самый гордый народ на земле.

2

– Дай мне, баба красная, петуха.
Погадаю я не на смерть – на жизнь.

Родила младенчика – нет греха.
Год под мужика теперь не ложись.

Выноси ребёночка с-под икон –
я скажу на солнышке с ветерком.

Покажи ручончек нежный след,
будет жить детёночек до ста лет.

¹ «Цыганская королева» (англ.)



Ты монашек чёрных гони, ворон –
будет сын богатенький, как барон.

Ты цыганку, девушка, уважай –
вдругорядь от мужа детей рожай.

Кто тебя, красавица, в лес водил,
в Колыму на каторгу угодил.

Ты не плачь-ка, матушка, по тому –
счастье, коли детушки есть в дому.

А мужик? Отыщутся кобели –
хату мой, себя блюда, печь бели.

Зеркальце, косыночку и кольцо
к петушку прикинь за моё словцо.

Не доплатишь, вытуришь от ворот,
что гадала, выйдет наоборот.

3

Может быть, было какое знаменье?
(Зверское тоже бывает прозренье) –
печки настроили, вырыли рвы...
В списках на первое испепеленье –
племя цыган и еврейское племя
тише воды в смерти, ниже травы...
Но пострашнее настроили печи
там, где осколки родной моей речи.

Вышел указ о кочевьях цыган,
и подписал ордера и наряды –
взять весь кагал – не цыганский каган².
Рушат шатры, раздирают наряды,
золото ищут и взяли в штыки
вязки, подушки, узлы, сундуки.

Молвил надзорный из прокуратуры:
«Бабы сглотали по сто золотых».
Умный начальник, а бабы-то – дуры...

² Каган (тюркс.) – князь



«Бей их в микитки!» – «Хватай их под дых!» –
«Всех под замок, и конвой при параше!»
Вышел указ, так и золото наше!»

– Ваше, товарищи, ваше, граждане.
В сытости ваши детишки, в тепле?
Сохнут в телячьих вагонах цыгане,
вытоптан табор и тихо в бурьяне,
воля – от пыли седой конопле.

4

Призраки пляшут, кочуют толпою,
спят по шатрам, окружают костры,
нет от гадалок бесплотных отбою,
призраки-дети кудрявы, шустры.

Пушкин, поверишь ли, русский Алеко –
агнец в сравненье с конвойной толпой...
Что же, народ мой – духовный калека,
изверг юродивый или слепой?

5

Не зыркают глазоньки по сторонам,
жилетки оранжевы, юбки с просветом –
гортанность романская слышится нам
в шуршанье листвы, облетающей с веток.

Сгорает душа, как сгорала всегда,
печали цветастых бродяг сострада,
сам солнечный бубен притих в холода,
краснеет рябина, о дубе гадая.

Разлуку до лета гаданье сулит,
кленовых листов развалилась колода.
Здесь табор самой королевы стоит,
в нём кормится множество всякого сброда.

Цыганский колодец исчерпан до дна,
однако зарыть его сил не хватает –
кремнистая тропка на взгорбке видна –
трава в этом месте не произрастает.



Как по мановению, по волшебству,
багряные с золотом платья упали,
и в рубище дождь превращает листву,
и видима ветошь кочевничьих спален.

Взойти, торопясь, на зелёный престол,
иная особа, из царственных тоже,
ковром накрывает осенний постой,
морозит жрецов её – поздних прохожих.

* * *

Зима наступает – не ждали её:
снег на голову – это мечь и расплата...
За летне-осеннее наше житьё,
беспечное, сытое, я виновата.
Я пела, и небо терзала мольбой:
– Дай сына! Дай мужа! Сестру или брата!
И небо меня удручало собой:
наслало сорок в скоморошьем наряде,
само стекленело в жаре неживой,
и пела я неблагодарных сих ради.
Ни словом они не согрели меня,
и нот не прибавилось в нотной тетради...
Зияет душа – среди льда полынья,
дрожит, уменьшаясь под натиском льдинок,
нигде и никто не разводит огня,
за душу мою не ведёт поединок.
На поле ничья не ступала нога,
не видно на белом ни букв, ни картинок –
мой летний молитвенник скрыли снега.

Созвездие Пса

Вскрикнет птица, хрустнет ветка,
заискрятся провода,
пёс бросается в разведку,
бескорыстный, как всегда.

Через клумбы, через грядки,
разбежались без оглядки,
еле унесли хвосты
бомжи – серые коты.



Пёс ревнует старших братьев
к прочей живности земной...
Он с гостями, с целой ратью
сам один идёт на бой.

Как же мы осиротели:
как язычника, с постелью,
с миской, с чашкой для питья
и в ошейнике с медалью
отдаём земною данью
друга бытия-жизня.

Тихо на небе пологом
пёс плывёт с пятнистым боком,
чтоб в хозяйстве Зодиака
хлада звёздного вкусить...
На том свете перед Богом
защити меня, Собака,
заступись за всех, Собака,
больше некого просить.

Конюшня

Все говорят: престижнейший район –
то место, где теперь я проживаю.
Мне помнится зато пора иная –
теснила свалка двор со всех сторон.

А мы меняли коммунальный рай
в служебном доме с Банком Коммунальным
на клочок земли за свалкой самой дальней,
на комнату, конюшню и сарай.

Чердак с окном, там драные коты
и днём и ночью праздновали шабаш,
прохлада нарастала с каждым шагом,
смотрели в рот терновника плоды.

Я всё забыла средь своих бумаг –
одна конюшня в памяти чернеет –
сквозь крышу пыльный столбик солнца веет,
а в центре ясли, точно саркофаг.



Я так мала, я так ещё бедна,
что восхищаюсь деревянным полом –
простор конюшни – просыпаться повод –
здесь спозаранку царствую одна.

За век, задолго до кровавых дней
для городских животных, это было,
но уж тогда конюшня позабыла
и запах живших некогда коней.

Здесь нет угля, и дров в помине нет,
ни живности, ни мебели, ни сора –
мы все её хранили от позора
хозяйственных обыденных сует.

Переживая сладкую жару,
кормился баснями в конюшне околоток –
за неимением морей и лодок,
в стоячих яслях плавали в миру.

Слетала я в Москву и в Ленинград,
на теплоходе сплавала на Кизи,
Ростов Великий, Суздаль стали ближе,
но ближе всех мой первый экспонат.

Театр и книга в нём заключены,
Арина Родионовна из притчи.
Вот наши поколения в отличие
от нынешних чему обучены.

О пропитании печётся мать,
до фортепьяно не доходят руки,
и мне высокомернейшей науки
фигурного катанья не познать.

Теперь своих обученных детей
за то, что жучила, давным-давно жалею,
и ту конюшню в памяти лелею –
родительницу вольности моей.



МОЛЕНИЕ ЗАТОЧНИКА

Сочинение Даниила – поэта и гражданина,
жившего на Руси в конце XII века

О, братья, грянем в золотые трубы,
всю силу разума восславим мудро.
Стрекочут струны, славу возвещая,
я спозаранку плачу и пою.
Народы, подхватите песнь мою,
поводырей к познанию причащая, –
в лесу загадок наступает утро,
мысль глубже, чем колодезные срубы.

Оковы сердца бью о камень слов,
как иродово войско, что есть мочи
лупившее о валуны младенцев.
Вдруг забоялся княжеского гнева...
Бесплодную смоковницей жду немо –
нет покаяния, куда мне деться?
Безглазый лик – моё слепое сердце,
а разум – ворон чёрный чёрной ночи...
Куда ещё?! Достаточно оков.

Мой дом осыпался среди разора,
как ханаанин проклятый, влачусь,
я нахлебался нищеты и горя,
как в Красном море – соли фараон,
подрезан я бесчестьем и позором,
и унижение – главное из чувств.
С тобой, добросердечный князь, не спорю –
подай просящему – какой тебе урон!

Всё по Писанию: стучащим отвори,
подай и челобитию поверь,
печаль свою переложи на Бога
и от него кормленье заслужи.
Кто я? Трава иссохшая? Дожжи
не льют под камень, божий страх – помога.
Живу, обидами обложенный, как зверь,
хоть ангелом, хоть волком посмотри.



Кто в Боголюбове татьбой казны процвёл,
кто приторговывает в Новом граде,
и я, несчастный, – жертва чёрных склок.
Услышь, всесильный, ссыльного на Лаче –
я в Каргополе изошёлся в плаче.
Прогнил мой дом, и рухнул потолок...
Услышь меня, Великий, Бога ради,
урезь толику хоть от доли чёрных зол.

Спроси, где сотрапезники, друзья,
макавшие со мной в одну солонку?
Исчезли, только ноги подсекли,
не глянут, из ушей торчат заглушки.
Мудры на слово русские князья:
не падай там, где не постлал соломку!
Услышь, потомок мудрых, и смекни:
уста – не лишний рот перед кормушкой.

Иссушенный убогой нищетой,
Адам-изгнанник – плачу и рыдаю:
о рай, о сад блаженства и соблазна!
Бедняк один на родине святой,
богач рабами дружбы обладает
и на чужбине греховодно-праздной.

Увяло слово бедного в презренье
толпы. Едва богач заговорит,
и все умолкли, обронить боятся,
хоть он им не отсыпал золотых.
Я нищетой железной бит под дых,
и хищники выходят, не таятся.
Птенец, я тенью ястреба накрыт –
тот ястреб много выклевал прозрений.

На беззаконье медленно гневясь,
ты справедливости когда добудешь, князь?

Истает олово от частых переплавок,
истлеет в бедах честный человек.
Щепотка соли – да! Но ком – беда.



Ведь хитрецов на мудрецов облава,
безвластного изгнание и побег
вершатся мимо Божьего суда.

В муку для хлеба жёрнов мелет рожь,
а жёрнов горя что нам обещает?
Рассудок зрелый к зрелому зерну
приравниваем только фигурально.
Но как я зрелость цельную верну?
Как быть истёртым со своей моралью?
Кого из смертных совесть прельщает,
когда при ней от голоду помрёшь?

Яви лицо, дай жирным окорот!
Стань, господин, весною для сирот,
и пусть восторг захлёстывает птицу,
пусть отдохнёт от бед своих вдовица,
которую богач гонял в тычки,
пусть помолчат доносчики-крючки!

За пиршеством ты вспомни обо мне,
кормившемся сухой горелой коркой.
Тебе – медовый взвар в злачёном кубке,
а мне – гнилая жижа из болотца.
Я цепенел от холода на дне
землянки, сыт был жижею прогорклой,
но вот заныли на сердце зарубки –
душа устала о вражду колотьяся.

О вспомоществовании молить –
таков у нищих свычай и обычай.
Не надо золота – сокровища храни,
опутывай надёжными сетями,
чтоб с мелкою ячеей невода:
просящим выливается вода
с моллюсками, но крупная добыча
не может через эту сеть уплыть...
Мыслителей за злато укупить
не можно, ведь бесценные они
и не привыкли рвать себе когтями.



Сияет покрывало красотой,
но не сравняется с твоим сияньем,
вся челядь разгоняет думы туч –
лицо твоё, как честности явленье,
и даже я, зияя наготой,
хватаю гусельки в своей зловонной яме,
хочу воспеть, как крепок и могуч
наш бедный город под твоим правленьем.

Такой, как ты, хороший господин
даёт свободу подданным и слугам,
и всё же не напрасно говорят:
подальше стройся от хором господских.
Наёмники, честные, как один,
как искры огня, разметались кругом –
насквозь все одежонки прогорят, –
за правдой лезши, принял доли скотской.

Как золото в изгвазданном сосуде,
одетый рубищем в безвестности мудрец.
Зато весь в золоте в миру живёт глупец –
о чём не ведает, он всё же судит.
Но в скудном одеянии своём
я изобилён разумом, язык мой
глаголет истину, хоть сам я нищий видом.
Когда мы мудрое из чаши жизни пьём,
Мёд – наши мысли, по словам Давида,
веселья нимб горит над головой.
Глаза и сердце мудрых ищут блага,
в мечтах о пиршествах глупец проводит дни.
Битьё от мудреца в засуху – влага,
от глупых – только глупости одни.

Покойника в гробу не рассмешишь,
глупца советом не облагородишь.
Никто не сеет зёрна на меже
и в житницы глупцов не собирает.
Когда цена уму – без масла шиш,
учить рассудку – упованья вроде,
что воробей орла забил уже
и что свинья, как пёс, на белку взлетает.



Не заподозри в скудном разуменье:
не говорю, что небо из холста,
а звёзды нащепали из лучины.
Ты скажешь: «Вор!» – и как по мановенью
мне должно будет замыкать уста.
Не вор – за что я выкормыш кручины?
Прелюбодейство – гибель для девицы,
мужчине – лжа, уж лучше удавиться.

На море ветер топит корабли,
воздуходувный мех потребен кузне,
чтоб раскалить железо докрасна,
в ошибках князя виноват советник.
Дурным наставникам, о, княже, не внемли,
а пуще женщинам: при глупой – сам ты узник,
и не в твоих руках твоя казна –
не князь в князьях и в медниках не медник.

О, диво дивное – уродина жена
и в дом взята за тестево именье.
Как только глянет в зеркало она,
такое там увидит, что весь дом
от гнева бабьего трясёт без разуменья.
Уж лучше дом свой осквернить скотом,
тот тварь и эта, но давно известно –
тварь из скотов хотя бы бессловесна.

Уродку взял – в богатстве нос дерёт,
а в бедности от бешенства злословит,
кощунственно не замыкая рот,
как смута и мятеж, и нет с ней слада.
А уж красавицы изогнутые брови –
капкан на праведника и засада,
и лихорадка так тебя тряхнёт...
Ты бабой ослеплён и околдован,
и заживо сожжён и четвертован.
Князь, не вели тягать мне этот гнёт.

Апостол Павел пишет в поученье:
Крест – церкви голова, а муж – жене.
Жена в делах на мужнем попеченье –
находка редкая. Иное не по мне.



Как древоточец точит изнутри,
так злая женщина рассудок истощает,
в святых местах бесстыдно обольщает,
а муж при ней хоть пламенем гори.
Я стану камни бить в узилище сыром,
но той жены не поведу в свой дом.

Кто льва свирепее, лютое злой змеи,
кто превзошедши всех ползучих гадов,
на мужа стрелы ядом напичкал?
Адама райские иссякли дни...
О, не дели с дурной женой секретов:
Иосиф распрекрасный оклеветан,
и не разверзлось небо от раскатов,
как Даниил был брошен в ров ко львам...
О, муж-глупец, неужто не видал,
что брал, доверясь ласкам и словам.

Жил человек, как померла жена,
вдовец детей по одному распродал,
и страшен ближним был безбожный суд,
вскричал народ: «Какая их вина,
чтоб в рабстве жить без племени и рода?!»
А он в ответ: «Страшусь, в жену пойдут
и в старости меня запродадут».

В Афинах философом не парил
и в жажде знаний рыскал утоленья,
как пчёлка, собирая мудрость книг.
Слова с заветным смыслом в полном сборе.
Не выскажешь всего, что я постиг.
Стекаясь, реки образуют море...
Ты не забыл, о чём я говорил
в начале самом своего моления?

Немного мне осталось досказать:
не пререкайся с глупым – оглупеешь.
Так мелет жёрнов, а ему-то лишь
мучная пыль досталась от работы.
Мешок дырявый, как ни завязать,
а всё ж добро через дыру развеешь.



Лишь ненависть людскую возбудишь,
договорившись до седьмого пота.

Как птица божьих птичек заглушает
крикливым клёкотом с рассвета до темна,
так многословье всех разоружает –
с ним лучшая позиция сдана.

Господь пресветлый, князя одари
Самсона силою, отвагой Македонца,
красой Иосифа, рассудком озари
и мудростью, подобно Соломону.
Под княжескою доброю пятой
приумножатся люди и под солнцем!
Тебя прославим песнею святой,
как славили тебя во время оно!

Волчья песня

Я был таков, жратвы не добыл.
Цепной мой полномочный враг
меня облаял так-растак
и бросился за мною, чтобы
загрызть, ругаться надо мною.
Уж на хвосте висел мой крах!
Когда был предан я луною,
нырнул в овраг.

Вот зверя бурого печаль,
где слышен запах скотской крови,
сидит опричник. Час не ровен,
спасайте ноги, прыть и даль!
Полыни хлещут по ногам.
Одно и летом, и зимою:
псы, благом чтущие помои,
в ответ на холод и побои,
добра хозяйского не гам...
Но волчьей кровью срам отмоют.

Клыки собачьи, что кинжалы,
тоски и смертной боли жало



волчину скрючило в комок.
Хозяин гор, полей, лесов
загрызен шавкой!? Унижение!
Когда так много низких псов
убийство предпочли сраженью –
не унести разбойных ног.

* * *

Как герметична тьма –
весь день мольбы исполнен,
а ночь один обман
без тьмы в сиянье молний.

Светло в сюжетах снов.
Отравленная бытом,
любовь в зиянье слов –
подранок недобитый.

Есть герметичный звук –
играй в звучащий ящик:
свистит на флейте Глюк,
как будто настоящий.

Заезжий дирижёр
в звук палочкой вонзился,
и страшный-страшный хор
над флейтой разразился.

Сплошной звериный вой
и некомфортный грохот
с победною трубой
под дьяволовый хохот.

Ах, бедная душа –
одна на целом свете.
О, как ей смерть страшна!
Страшней – одно бессмертье.



Улица Станкевича

Я не в Москве – в аду её найду,
ту улицу: храм, баня, дом, конюшня...
Кто пожил здесь, я помню всех подушно
и пройденное повторять иду.

Такая сладострастная тоска
мне в этом месте душу надрывала.
Гляжу: мемориальная доска
на старом доме, где и я бывала...

В чью честь? Наверняка же, не в мою,
иначе для чего я здесь стою?

«Домостроенье Вяземских князей
неоднократно посетил...» О, Боже!
Сам Пушкин жил в действительности сей,
и мы насмелились, и проживаем тоже.

Есть разница: давно взамен коней
в конюшне Вяземских ютятся люди.
Их быт, что москвичам казался труден,
с моим в сравненье лёгок был ей-ей.

В конюшнях я была защищена:
вот барский дом, где появлялся Пушкин,
где кирхи тень торчала у окна,
валял в подвале третий муж подружки.

За стенкой – типография «Гудка»,
там спят бездомные Багрицкий и Олеша...
Клуб «Родина» – вход справа – эти флешки
стоят за допетровские века.

Над крышей живописец строил дом,
весь из стекла и воздуха, не в стиле
конюшен Вяземских, но суть не том, –
мы, не обидевшись за стиль, и там гостили.

Предательством подвала был визит:
в подвале маялись, над крышей процветали,



что строился беспорный паразит –
такие не смущали нас детали.

Святое умецала голова,
открытыми вступали в мир двурушный:
писала и носила я слова
в иные стародавние конюшни.

Ах, сколько раз чуть вопля не исторг
сидящий в глубине души восторг,
когда многоязыкие тузы
хвалили за единственный язык.

Веленье божие и стихотворцев суд
то по миру погонят, то по миру;
спасительным тогда казался труд
сложить, запеть и вытянуть стихиру.

Монолог любовницы Гойи

Мой любовник благороден –
слух о том идёт в народе.
Мне сказавши «сильвупле»,
вышиб из-под ног опоры,
сам ведёт переговоры –
я пока вищу в петле.

Он философа спасает,
а меня в огонь бросает.
О, любовь моя – ярмо.
Бывший друг Франсиски Гойи
слово вымолвил благое:
«Живопись его – дерьмо».

Вот бы мне поверить в это,
не была я им пригрета
ни в начале, ни в конце.
Вот бы мне бы плюнуть смачно
и засесть в притоне злачном
без вуали на лице.



Стала б явною картина,
до чего довёл, скотина.
Ведь не в той мазне судьба,
где в мантилье благородной
госпожой стою свободной,
до беспамятства – раба.

Обернув мне плечи шалью,
посылает с разной швалью
жить без божьего суда.
Старый хрен из франкофилов
инквизиции без мыла,
слышно, влезет хоть куда.

А моё предназначенье –
стать интрижкой, развлеченьем,
чтобы воодушевить.
Я в его постель залезу.
Он мне гадок дозарезу!
Как мне быть? О, как мне быть?!

Мой любовник ненавистный,
видно, очень бескорыстный.
Чтоб ты в яме окошел!
Хоть бы сдох, чтоб стал ты вечен,
и в легенде человечен!
Сделаю, как он велел.

* * *

Мартеновская печь и дантовы круги,
а, впрочем, и котлы с отменною смолою –
прохладный райский сад в сравненье с пустотою,
где с амфоры крыластый чародей
тебя находит и разит стрелою...
Успел-таки, спустил её с дуги
под левую лопатку, вот злодей.
Он плавал, как картинка, надо мною,
а я-то погибала смертью злою.

Знай, боцманская речь, как пушечным ядром,
ядрёную прорвавши парусину,



сойдёт за проповедь – хвалу Отцу и Сыну –
уже за то, что выдохнул нутром,
за образец смирения сойдёт
такая речь в сравнение с диалогом
тех, кто отнюдь не мастерски крадёт,
тех, кого страсть застала за подлогом,
застала за подменой высших чувств
и потаённый своротила куст.

Проходит жизнь, но вечен протокол –
не подлежит закрытию это дело.
Я так о благочестии радела,
так отвращала смуту и раскол,
о жизни не заботилась нимало,
так часто копы за пустяк ломала,
что есть в благополучии пятно:
отступника зачислить в жизнь – одно,
другое – мучиться от созерцанья бездны
своей души в раденьях бесполезных.

* * *

Я начиталась на своём веку,
такого начиталась, напилалась...
Теперь вернуть бы, но мешает малость!
Закованность гнетёт мою строку.

Мешает незаслуженный успех
писать по-хитрому, витиевато,
по-старому. Была ль я виновата,
когда чужой брала на душу грех?

За что же незаслуженных похвал
навесили? О, медных труб гуденье –
не жизнь, поверьте мне, – одни виденья –
восторг – овечка, злобность ближних – шквал.

Тот, кто отпил невинные глотки
моей несмирной крови, горькой лимфы,
не ангелы небесные, не нимфы,
в упрёк природе, но не вопреки.



Тот, кто отпил, не прочь ещё глотнуть –
судьба отпивших – броситься по следу...
Ещё потомок-волк ведёт беседу
о долге, откромсав последний путь.

О, Господи! За что среди вражды
мы век влачим? За что среди раздора
мир сотворил единственный, который...
Которому духовность – без нужды.

Зачисленная в мать и перемать,
в крови, в поту рожаю выдох горний.
Спасайся, волк, – рви певческое горло –
оно не даст тебе существовать.

Ленинград

Нет, не туманный Ленинград
на мой, отнюдь не первый взгляд,
навстречу вышел из-под спуда
забот, обыденных трудов,
казался не совсем здоров,
хрипел и мучился простудой.

Прохожих ветер обожал:
всей страстью петербургских жаб
впивался в горло и грозился
такой изнанкой бытия...
Со мною град (при чем тут я),
как с торбой писаной носился.

А я стыдилась всех забот,
внимание невпроворот
меня томило и смущало.
Нет, не внимание одно,
а то, что, может быть, оно
уже измену предвещало.

Как оборотень, град стоял,
тоски моей не растворял,
и мне со стороны вокзалов
не нужно спилей и дворцов,



не нужно мне, в конце концов,
дворцовых освещённых залов.

Он ловко прятал нищету,
обыденность и суету
дешёвым блеском непрерывным.
Был дух ленивец и нетяг,
а город изнывал в сетях –
не разлюбить – казалось странным.

Не он ли в бытности иной
болел чахоткой и тюрьмой,
и Гоголем, и Достоевским,
его знобило и трясло,
и прямиком к воде несло
его во всё сусальном блеске.

Я с сумкой, полною лекарств,
торчу у всяких тесных касс,
с любим готова поделиться
лекарственной травой степей.
Пей, город ненаглядный, пей, –
люблю твои любые лица.

Пей, оборотень, пей, двойник,
мой юноша и мой старик,
мой лучший встречный на дороге.
Хоть всей изнанкой навались,
ты неподсуден, точно жизнь,
мой мужественный, мой убогий.

Русалочка

Я светлая, я белая, я русая,
я дева леса, а кругом пустыня,
здесь ни единой веточки не хрустнет,
я скоро здесь сгорю и здесь остыну.

Ведь я русалка. Из зелёных омутов
в леса принесена прохладной речкой
и вырвана из них... О, маята!
Дышала я одной славянской речью.



Я мучаюсь, я гибну на песке,
своей тоской, как сучьями, пылая.
Брось, брось меня хотя бы в чистый снег
моей земли...

Я все твои желанья...

* * *

Здесь не по-нашему брешут лисы,
не по-равнинному звёзды растут,
лунные тени растенья кладут
только отвесно и тянутся к выси.

Сон сновиденю отнюдь не родня –
спим и тревожимся, ночью слепые,
а в середине горящего дня
жди сновидений от жажды и пыли.

В снах неизвестных в России растений
скрежет железный и толкотня,
именно там, в самом центре огня,
войско летит, не отбросивши тени.

Если ты колокол, вырвут язык,
и, обладая набатною речью,
многоязыкому верен увечью,
молча раскачиваться привык.

Мы родились, а земля за холмом.
Эта ли родина нас упокоит?
Взять бы, что дадено, жить бы с умом –
нет, под холмом пробиваются корни.

По-над – чужая пустынная мга;
здесь остываем оплотом России
в личной трагедии, в частном бессилье,
будто в бегах.
Что за холмом?...



ГОРЕ-ЗЛОЧАСТИЕ
Повесть XVII века

Зачин

Господь соизволил, и тленный наш век,
открытый смешением тверди и рек,
небес и морей, и вершков, и корней,
текущее принял обличье.

И вот угнездилась под небом земля,
растеньями полны леса и поля
и гласом звериным и птичьим.

И вскоре в награду своим же трудам
был Богом содеян родитель Адам,
потом из ребра его Ева.

И дерево было с запретным плодом;
Господь очень строго сказал им о том,
но Ева покушала с древа.

Как в горло потёк искусительный сок,
сам Бог разузнал и немедля пресёк
их райское существованье.

Приказано грешным – для плотских потреб
работать и в поте лица есть свой хлеб,
и срам прикрывать одеяньем.

А также приказано в муках рожать,
чтоб грешный свой род на земле продолжать
и мукой господней терзаться,
поскольку родители, чадо любя,
за грешность дитяти корили себя –
от этого нечем спастись.

Ведь опыт отцовский хуле предают,
в совет материнский обычно плюют,
и немощны в доброе дело.
За грех не считается друга надуть,
налгать принародно, бия себя в грудь, –
жизнь праведностью оскудела.



В коварной Неправде по ноздри застряв,
никто сам себя не ругает за нрав –
проклятья шлют древнему древу –
кругом расплывается распря и пря.
Как бросили скорбь и позор якоря,
так время господнему гневу.

И Бог насылает венец суете:
имущества нет, пустота в животе,
видать за версту побирושку:
теперь, босомыга, по свету плетись
и в масляный праздник без хлеба крутись,
за медью протягивай кружку.

Вот присказка. Сказка не выправит свет.
Истории этой четыреста лет.
И нет в ней великих открытий.
Но людям и маленьких правд не поднять,
не держат в пророках отца или мать –
хоть голову мне оторвите.

Сама история

1

Отец и мать родили в оны дни
мальчишку. Он беззлобен, как они.
«Угу, угу», – и всё полно значенья –
бежало время, как в ручьях вода,
вошёл младенец в юные года,
родительское принял поученье.

Что ни совет, в половицу вошёл –
умом родитель добрый искушён,
в нужде не прозябал, со всеми ладил,
учил: «Сынок, не полюби пиры,
на деньги вовсе не знавай игры,
живи по чести – будешь не в накладе.

Гнушайся винных складчин, точно бед,
не пить хмельного дай себе обет –
попойще доводит до разора.



Глаза уйми, хоть будешь окружён
нездешней красотою праздных жён,
прельстишься, так не изживёшь позора.

Люби законно. Есть во всём закон,
так повелось веками, испокон.
В усталости не спи в безлюдном месте,
а то придут лихие лихачи
богатые одежды совлачить
и выкрадут кошель с портками вместе.

Великий стыд-стыдобу сотворят,
тебя ж срамною бранью загрязнят,
определят голов кабацких ниже.
Отринь соблазн монеты золотой,
не лжесвидетельствуй, на правде стой
и не изобретай вины на ближних.

Словам бесчестным никогда не вторь,
ни богачей, ни нищих не позорь,
будь милостивым, ласковым, хорошим,
лишь праведных в наставники бери,
трудись и думай с зори до зари –
на поруганье злу не будешь брошен».

Но молодец был мал, к тому же глуп,
и мысленно советам дал отлуп:
«Своим умишком истину добуду».
Он честно нажил пятьдесят рублей,
а следом нажил пятьдесят друзей
и предался разгулу, пьянству, блуду.

И в радость было новое житьё,
как принялся за пьяное питьё.
Мёд, пиво пил, зелёное винище,
витийствовал, кричал, а погода
упал без сил, до дому не дойдя,
в безлюдном месте, как последний нищий.

А друг, с каким спознался он в пути,
клялся к отцу и матери свести,
сам пиво с мёдом ставил в изголовье.

Стремясь полнейшей чашей удружить,
друг обещал добро посторожить,
прельстительные говорил присловья.

Ослушаться бы таких друзей –
кичится дуралом и рогозей,
за кружкой хлещет кружку пьяной браги.
Давно уж он упился допьяна,
штоф зелена вина допил до дна,
да и уснул за городьбой в овраге.

2

Добрался день до вечера,
Очнулся, дурью меченный,
красивый добрый молодец –
один и гол, как перст.
Ограблен. Делать нечего,
порты с мошною стянуты,
рубаха – с плеч, обувка – с ног,
с груди – нательный крест.
Обманутый, обманутый...
А кто-то в шутку-злобушку
под буйную головушку
кирпичик приволок.
И как такому к матушке,
и как такому к батюшке
явиться на порог?

Накрыт рогожной гунькою,
не новою – кабацкою,
к ногам его приставлены
гнилые лапотки,
по телу дождик струйками,
от хлада зубы клацкают,
взамен своих подброшены
вонючие портки.

Встаёт он, обряжается,
на друга обижается.
А друга нет следа.
И нет деньги-полуденьги,
и нет мошны, и нет штанов –



куда глаза глядят, беги...
Куда глаза глядят, куда?
В кабак – с таких обнов.

Но власть имущая рука
пихает в грудь из кабака.
Вчерашние сочашники
глумятся-отпираются,
а голы-босы бражники
в собратья набиваются.

Ни корки нету пожевать,
и как ему не горевать:
ни друга, ни полдруга,
ни брата, ни полбрата,
и громко выть белугой
побоями чревато.

Одетым в грязное рядно
вернуться в дом родной срамно.
Он, бросив обретенный «рай»,
побрёл незваным в чуждый край.

3

В чужестранной земле двор огромный, как город,
посредине изба, путь камнями уложен,
пир в избе разместился, и нету укора
в пир забредшему гостю и в рваной одежде.
Хоть и не был парадно наряжен детина,
но исполнил обряд христианского рода,
люди добрые молодца перекрестили –
посадили в серёдку купецкого сброда.

Да не ест он, не пьёт, не смеётся потехам.
Все вокруг похваляются, видно, с похмелья.
А его вопрошают: «Откуда заехал?
Что ж не пьёшь, не пригубишь вина для веселья?»

Похвались перед нами своею заслугой,
нет заслуг, похваляйся хоть происхождением.
Обошла ль тебя чаша, ходящая кругом,
может, кто избидел тебя непочтеньем?



Может, глупой насмешкой тебя оскорбили?
Может быть, по одежке тебя принимали?
Может, чьи наговоры веселье стубили?
Расскажи людям добрым – развеешь печали».

Тут-то он принялся открывать свои скорби:
и кабацкая вольница волю скрутила,
и грабёж виноват, и скитание горбит,
и про скудость, что речи его укротила.

А в конце попросил: «Научите советом,
как поставить себя на земле чужестранной,
как друзей обрести и добро, и при этом,
как трудом своих рук богатеть невозбранно?»

В бородах затаили купчины усмешку,
ухмыльнулись купецкие детки в усишки,
и ответили разом, нимало не мешкав,
это знали они хорошо, даже слишком:

«Позабудь свою спесь, своё гордое буйство,
всех обрадуй покорностью: недруга, друга, –
и молчи, и терпи, и служи, и холуйствуй,
хоть тебе всё – вина, хоть иным всё – заслуга.

Бей поклон старикам и ровесникам здешним,
и юнцам поклонись, и дворовым собакам,
не трепись на пиру, если тайной сердешной
наградил тебя кто, иль в жилетку поплакал.

Увидал – и молчи, услышал – и не помни.
Сам чешуйчатый змей будет прост пред тобою.
Ты желанья свои потихоньку исполни,
да уж впредь не водись с босотой-голытьбою».

Так и стал обживать добрый молодец место,
вот уж снова глядит белолицым да гладким.
Старожил приотстал – у пришельца невеста,
из хорошей семьи с красотой и достатком.

Он всех позвал на пир, когда решил обрядом
сесть во главе стола с своей невестой рядом.

Иль был он не прощён отцом, иль не судьба,
но вышла на пиру гнилая похвальба.

Ему, как всякому, хмель добавлял нахальства.
Известно, со свету сживает самохвальство.

И если сверх того ещё пойдёт молва,
какая уцелеет голова?

Бог всхочет наказать, наслёт безумной блажи.
Вот он бахвалится: «Я столько денег нажил!..

Ведь против прежнего, вдвойне или втройне.
Я всех перехитрил и чёрт не страшен мне.

Имущество моё не увезти на кляче,
ведь счастье за мной по белу свету скачет.

Из страшной нищеты я вышел в белый свет,
и нет меня умней, счастливей тоже нет».

Поскольку звали всех и прочих не осталось,
на пир за всеми вслед Злочастье увязалось.

А молодцу с тех слов не своротить назад.
Злочастье между тем почуяло азарт

и думает: «Как был, остался голытьбою.
Не счастье – это я ходило за тобою.

Я не таких, как ты, спесивцев обратало,
в грязи и нищете до гроба их катало.

Боролись – позорились, а сами
всё глубже в зло-злочастье погрязали.

В могилы от меня переселились
и накрепко земелькой принакрылись.

С тобою будет мне не одиноко –
я у таких, как ты, всегда под боком.

Я горе-горинское, славное Злочастье,
во всех твоих делах теперь приму участие».

5

По пьяну сон его сморил.
Глядит, архангел Гавриил
в одеждах белых пред очами.
А это, излукаваясь вновь,
стреляет Горе в глаз – не в бровь,
зовёт бесовскими речами:

«Ах, добрый молодец, ей-ей,
не знаешь выгоды своей.
Неужто в неге жить охота?
Потратишься, чтобы купить,
поиздержался, стало быть, –
впрягайся в новую работу.

Завидна жизнь у босяка:
идёт-бредёт издалека –
кто не имеет, не теряет.
Таких, кто горе горевал,
без печки зиму зимовал,
из рая Бог не выгоняет.

В кабак спасайся от котла
и пропивайся там дотла,
спусти до нитки свои тряпки.
Взашей гони свою жену –
найдёшь такую не одну.
Все бабы – жабы, яд, пиявки.

Пойдём по свету с босотой,
пойдём по свету с наготой,
пойдём, чего-нибудь поищем,
и станем пить себе, гулять,
и станем горе горевать
в отечестве таких же нищих».

Что тут за вещь принять?
Но бросивший отца и мать
видали вы, чтоб устыдился?
А он поверил в тот резон,
подумал: это – вещей сон,
и пропил всё, и в путь пустился.

Идёт, а на пути река –
не переплыть, так широка,
и глубока, и ветер грозен.
Хоть перевоз на берегу,
а он сидит и ни гу-гу –
без денег перевоз не возит.

Давно он хлеба не едал.
А кто б ему без платы дал?
Вот мыслит: «Кто ж меня домывал?..»
А из-за камня без белья –
нагое Горе: «Это – я
тобою правлю, горемыка.

Во сне архангел Гавриил
мои слова наговорил,
а ты послушал, бедолага.
Теперь мы – не разлей вода,
мы породнились навсегда –
лишу тебя любого блага.

Кто любит баловать винцом,
кто не послушал мать с отцом,
того я научить сумею.
Цари в отечестве моём,
мы славно заживём вдвоём:
ты всех глупей – я всех умнее.

И с горя молодец запел:
«Когда родился, был я бел,
да чёрен стал, как головёшка.
Любила мать меня – дитя,
я думал жизнь прожить шутя,
да вот пошёл кривой дорожкой.



Она звала меня сынком,
из-под ладошки козырьком
глядит мне вслед с крыльца родного...
Как убежал я со двора,
не оценив её добра,
так не видал добра иного».

Услышал песню перевоз,
на правый берег перевёз,
и платы с голого не взяли.
Одели. Что же впереди?
«К отцу и матери иди!» –
простые люди наказали.

7

Тогда же с повинной седой головой
пошёл он к родителям в город родной,
а Горе вперёд забежало:
«Постой, погоди, предо мной ты не прав –
не зря я тебя за недобрый твой нрав
поваживало, поважало.

Домучу до смерти, а там уж прости,
боюсь, разбредутся мои без пути
умильные, гладкие детки,
и родичи враз опорочат меня –
с тобой тут, не зная ни ночи, ни дня,
вожусь, подбираю объедки.

Всегда у тебя я под правой рукой,
хоть кем обернись, хоть травой, хоть рекой,
хоть рыбой, хоть птицей воздушной...
Какую ни явишь великую прыть,
да не исхитришься меня исхитрить,
куда тебе, хилый, тщедушный».

Молодец – соколом,
Горе – кречетом,
молодец – солнышком,
Горе – вечером,
молодец – волком,
Горе – борзою,



молодец – травонькой,
Горе – косою,
молодец – мошкой,
Злочастие – птицею,
молодец – белкою,
Горе – куницею,
молодец – рыбкой,
оно – сетью частою.
Вынуло душеньку
Горе злочастное.

Крепенько держит под ручку печального,
бает припевочки буйно-нахальные:

«А вот обучу тебя жизни богатой:
без дома живи, без скотины рогатой,
тебе ли по пашням пахать, молодец?
Купчишку зарежь – его деньги сгодятся.
За это людишки в остроги садятся,
и виселица – подходящий конец.

Ах, мало мне, мало мне грязью заляпать!
Башку тебе могут секирой оттяпать,
а можно и с камнем на шее – да в пруд.
Пора б уж тебя, дорогой мой, замыкать –
с гнильцой, чем пошит, оказалось лыко –
меня по притонам-то ждут – не дождут».

А тут на пути монастырь святорусский,
ворота открыты, и вход хоть не узкий,
да Горю никак не пройти тех ворот.
Заплакал тут молодец, грешный и нищий.
С тех пор не видал он родного жилища –
пострижен в монахи и в келье живёт.

* * *

Озоном лёгкое прострелено,
газонам трепетать не велено,
как в процедурной, чистота.
Гроза разрядкой ионической
и чистотою хирургической
не исцелила ни черта.



Пусть вся природа – только жест вины,
спасибо за недуг божественный –
любить и не стяжать ответ.
Благодарю свет и затмение,
и суеверье, и знамение
добра и бед.

Благодарю за ощущения,
за осложненья опрощения,
за критиков благодарю,
за вишнепад, ведро смородины,
за тот язык, которым Родину
люблю.

* * *

В житейской веренице лиц
ты промелькнул, и мне не жалко...
Любовь – цейтнот, гвоздящий блиц.
Я вырву несколько страниц
из книги жизни на распалку.

Её мистический сюжет
не слишком строен, чтоб хватиться
пропажи пары ранних лет,
где счастье – безымянный бред,
бездействуя, мелькают лица.

Обозначение имён
произойдёт, как при Адаме.
Другой, но будет мной пленён,
по привороту опьянён
неподзапретными плодами.

Какая прорва птиц, собак,
озёрных трав, пустынных гадов,
столетних зол и вечных благ,
одолевая тлен и прах,
освободится от загадок.

О, счастье, как оно мало!
Молитесь все, чтоб повезло



с родной душой соединиться.
Вокруг терпимо и светло,
когда в руках своя синица.

* * *

Полночный обход деревенской луны,
бесчувствие трав, полувыважженных зноем,
и все соловьи поголовно пьяны –
храпят по кустам, не терзаясь вином.

А я над любовным посланьем корплю.
«Сплю-сплю», – возглашают бессонные сплюшки.
И мне что-то снится, хотя я не сплю,
хотя голова не касалась подушки...

В окошки колотятся ветви калин –
водицы хотят попрошайки-калеки...
Любовь моя, знойного воздуха клин
меж нами забил на вечные веки.

* * *

Тихий, тихий туман
по дороге течёт, как река,
темногривые рыжие лошади
его вброд переходят...
В расписание конюшенном
значится наверняка
этот ранний проход лошадей
при терпимой погоде.

И куда же они?
К горьким травам и сладкой воде.
Как высок водопой
в этой местности горно-озёрной.
Ждать обратно их – мука,
но в том расписание нигде
моя мука не значится,
нет её в списке казённом.

А зачем я их жду?
Я скажу вам, зачем я их жду.



Созерцанием я растравляю
прискорбные раны...
Не припомню, в каком это
горько-полынном году
так же тихо текли
сквозь равнинное поле туманы.

Лошадиные головы
плыли в туманной волне,
от покоя взаимной любви
я плыла и пьянела;
с кем плыла я в тумане,
погиб на бескровной войне
то с женой, то с начальством,
то с вечностью осатанелой.

За туманом не видели мы,
где овраг, где обрыв,
тот клочок-пяточок нам казался
надёжней, чем крепость,
и закат нашу тайну
от сглаза туманом покрыв,
скрыл, не выдал тогда
безнадёжной надежды нелепость.

Натерпелась ли я?
Нет, пожалуй, ещё потерплю.
Почему-то душа
не пресытилась правдой и ложью.
Я уже от родных потихоньку
на саван коплю,
а мечтаю вернуться,
пройтись по тому бездорожью.
Грустный вымысел
очень похож на всеобщую быль.
Над разбитым корытом
себя обвиняю в растрате...
Погружая большие копыта
в горячую пыль,
возвращаются лошади
на азиатском закате.



* * *

Если я тебя покину,
мир умрёт наполовину.
Если бросишь ты меня,
то конец настанет света,
не когда-то и не где-то –
в тот же миг средь бела дня.

Не бросай меня, помилуй
свою пифию, сивиллу,
поле, лес, песок, траву...
Одинокой куковакой,
беглой изгнанной собакой
прокормлюсь и проживу.

За сто вёрст сквозь землю вижу,
ты моей тоской принижен.
Что полсвета? Пусть сгорят.
От тебя на многи лета
в страхе за других полсвета
отворачиваю взгляд.

Что же делать мне, колдовке?
Колдовать свой век в кладовке?
Для себя не сворожишь,
потому что прах толчённый –
только прах в глазах учёной
мысли матерьяльно жить.

* * *

Не видать нигде огня.
Пусто. Видимо, примстилось,
будто ты позвал меня.
И зачем я в путь пустилась?

Может, то кошачий глаз
показался из бурьяна,
может быть, сова как раз
пролетала над поляной.

Может, просто светлячок
разводил свой ночничок,



а его пернатый хищник
подцепил на клюв-крючок.

Может, беглая вода
луч последний подхватила,
может, павшая звезда
мне предсмертно посветила.

На звере багряном

Я тебе совсем чужая,
а другому я – жена:
от него детей рожаю,
с ним богата, с ним бедна.

Там, где видно отовсюду,
моей тени не ищи,
разве жалко злему люду
жизнь мою пустить с пращи.

За тесовые ворота
скрывшись от свету, тужу,
но осадные работы
вкруг тебя произвожу.

Если случаем встречаю,
хоть и знаю, не права,
для чего-то умягчаю
ядовитые слова.

Голова твоя дубовая
крепка, как монолит...
Отчего ж моё бедовое
сердечушко болит?

Оттого ль, что захотела
я запретного плода,
оттого ль, что залетела
так ненадолго сюда,

оттого ль, что наш розарий
ночью полон соловьёв,



от того ль, что на базаре
продают любовь и кровь,

оттого ль, что благонаправной
я слыву в чужой молве,
оттого ль, что богоравный
не рыдает обо мне?..

Ожиданье гостей в дождь

Утихнет и снова начнётся,
начнётся и снова затихнет,
холодный, сквозной, проливной...
Чуть лист над листом шелохнётся,
и мокрые мысли поникнут –
никто из гостей не прибудет,
чаёвничать нужно одной.

А в этой природе омытой
у зелени цвет ядовитый,
нет живописи – всё мертво.
В депрессии сад-собеседник,
пустует участок соседний,
и против слезливой погоды
взбунтуется всё естество.

Раскисли в низинках дороги,
вода вьёт гнездо на пороге,
проклюнулось сто пузырей.
Кто вылупился? Где скорлупки?
Исчадий водички-голубки
не видно, но чешет из почвы
стожильный поганый пырей.

Но кто сквозь потоки и лужи
стремится, как лошадь нагружен?
А, кто-то знакомый, родной!
Вода, перекрой все дороги
и дай нам побыть одиноким,
пусть гости сидят себе дома,
пока не разверзнется зной.



Сентиментальное имя

Дорогие наши гости,
сумки, зонтики и трости,
где хотите там и бросьте.
Для плащей и шляп есть гвозди.

Кто здесь жил, тихи и робки.
Чтоб теней не распугать,
нужно войлочные шлёпки
на подошвы подвязать.

Здесь забытая соринка
и старинная пластинка,
всякий крохотный лоскут,
жизнь отдельную ведут.

Можете взглянуть поближе
на героев наших книжек.
Ах, не трогайте руками!
Осторожнее ногами!

Вот на тех подстилках грубых
«Спи, мой бэби» пели губы.
Стал теперь бездетным дом,
и живут в нём привиденья,
мы же их в ночные бденья
разгоняем спать с трудом.

Смоляные шишки, книжки,
от кастрюль сгоревших крышки,
ложки, вилки, чашки, кружки,
в блин убитые подушки
много лета ждут вниманья,
ласки, сказки, пониманья.

Наши вещи нажитые,
все убогие святыя.

А теперь от низших сфер
мы взойдём на бельведер.
Очень крупное названье



маленького чердака:
вид на горы, облака,
на дорогу в мирозданье.

* * *

Гляжу со стороны: серьёзный вид –
без седины подбритые височки...
А кто тогда в плетёной люльке спит?
Не ты ли пузо греешь на песочке?

Одномоментно вижу жизнь твою
в ста стадиях: в подростке с тонкой шейкой
и в старике с клюкою узнаю,
но я проста, но я не ворожейка,

а прошлое с грядущим внятно мне,
как явь, что и в бредовом сне не снится –
такое вижу я при ясном дне,
чему вовек не стану очевидцем.

И в шелухе блистательна печаль,
когда ты фертом выглядишь и фатом,
а сам – струна дрожащая...
Отчаль
от наших душ, слепец жестокий – фатум!

Мы, сколько можно, постоим вдвоём,
без твоего вмешательства, посредник.
Не отрекись под тусклым фонарём
промозглой осени и у ворот последних.

Совсем не те мы бегали в кино,
бросаясь в путь, искали путь короче.
Расстаться нам предо-преде-лено.
Но всё-таки отложим час, отсрочим.



* * *

Гравюру, светящую в окнах полсуток,
штрихует стрижей неуёмный полёт,
а срок угасанья спокойствием жуток,
как снег среди мая, как в августе лёд.

Но кроток обласканный яблоней воздух,
и птицы земные покой обрели.
Потом оживает пейзаж – это звёзды
летят в плодоносную бездну земли.

От берега западного на восточный
плывёт среди звёзд золотой поплавок,
полнеба на леске и запах цветочный,
и солнце к исходной горе приволок.

В ночи волхвованье бессонниц прекрасно,
подслушали – с прошлым расстанемся вмиг.
И пусть беловик греховоден пристрастно –
наследным невежеством чист черновик.

Вода подставлялась под сети покорно,
невидимый лов проносили стрижи.
Все рыщут в миру красоты и прокорма,
за это на этой земле послужи.

О том, как душа о бессмертье молила,
какому откроешься Богу-врачу?
Черёмухи сок подливая в чернила,
конечную жизнь приукрасить хочу.



СТРАСТИ МНОГИЕ

Поэма о П.И. Чайковском и Н.Ф. фон Мекк

Обращение к читателю

Читатель, дай прощение грехам:
клянусь, что доля правды не вошедшей
настолько велика для бытности прошедшей,
что мой сюжет – песчинка на бархан.

Не входят Боб, сестра, фамильный декабрист –
не тот, опальный, а ближайший родич,
и Рубинштейн Антон (брат Николай, тот вроде
немного освещён как рядовой хорист).

Теперь, когда их век, растратившись, иссяк,
великий дирижёр – статист немого хора,
балетоман... Не скоро Терпсихора
погонит в пляску ангелов косяк.

Законная жена, слуга и брат Модест –
не входят... Юргенсон, Татьяна-морфинистка...
Спит сном скрипач, не тронет струн арфистка...
Поэма – не роман – на всех не стало мест.

Я отсылаю вас к большому словарю;
от буквы «А» до «Я» отыщет любопытный
мир музыки и семьи, по-русски самобытный,
и прочих всех, о ком не говорю.

С потомками фон Мекк уж наломали дров.
Они путейцы при любом режиме;
расстрелян Николай (при Сталине пожил),
бежит жена к врагам, а у неё по жилам
бежала как-никак Чайковских кровь.

С кого теперь спросить? А не с кого спросить.
Спроси с меня хоть что-нибудь, читатель!
Я гармоничных звуков почитатель,
а невестребованных не могу сносить.



Песенка каторжника

От холеры и чумы,
от тюрьмы и от сумы
не отказываются.
Кто доносит на господ,
кто на слуг доносы шлёт –
все подмазываются.

Наказанья вменены
за вину и без вины –
царь преставился:
хлобыснул под вечер яд
и теперь, наверно, рад,
поизбавился.

Николаша, Николай,
ты кому наш бросил край,
благонравному?
Не горишь ли ты в аду
по хрестьянскому суду
православному?

Ах, большой, большой секрет,
что в России Бога нет –
наша долюшка.
Волю Александр Второй
дал, стоит в России вой
с этой волюшки.

Пред царем капиталист,
как перед травую лист –
все хорошие.
Мы их, проклятых, костим,
но костями пути мостим
за полгрошика.

А турецкая война?
Наплодил же сатана
турков-нехристей.
Сколько крови утекло,
сколько русских полегло
во сыру постель.



Железный век

А в святом Петровом граде
виселицы и пальба;
попрошайки – Бога ради –
носят гробы-короба.

И Петра античный ужас
в эти годы не у дел.
Смрад и гниль гноища хуже
Медный всадник разглядел.

На дыбы Россию поднял,
а другой её загнал...
Век железный подлый-подлый –
что ни шаг, то криминал.

Вешают народовольца
на Семёновском плацу –
не ходить бы в свою юность
«Бесов» крёстному отцу.

В храме Права правоведы,
развращавшие юнцов,
суд вершат, дают обеды –
«Раз живём, в конце концов».

Год уже восьмидесятый.
Царь казачий взял конвой.
Пучеглазый и усатый
в своем граде сам не свой.

Терроризм в печёнке, в порах,
жандармерия при шпорах
настигает главаря,
только зря.
Новый станет во главе:
не подмок слезами порох
по царёвой голове.

Умер Фёдор Достоевский,
новый начался отсчёт.
Царь ещё ходил на Невский...
Вот уже и с крыш течёт...

Царь убит под небом синим
в первый день весны как раз.
Зачумлённая Россия
на Крови поставит Спас.

Век в России невезенье,
а не то, что с этих пор.
В Азии – землетрясенье,
наводнения, глад и мор.

Казни, ссылки, каторжане,
цепи тяжкие пылят,
плачут в храмах прихожане,
по земле гуляет ад.

От костей подошвам хрустко,
тянется содом годов...
Новый царь? Он пьёт по-русски,
но во всём винит жидов.

Сколько лжи вокруг и фальши,
фанатической возни.
То, о чём мы скажем дальше,
совершалось в те же дни.

Надежда Филаретовна фон Мекк

Что тут хор? Похоронные слёзы?
Скорбный свет полунищенской прозы,
полный сбор управленья дорог;
все чиновники-акционеры
по обряду крестятся без веры,
в каждом встречном – купец и игрок.

Соболезнованье церемонно,
лик покойника светит лимонно,
близко дети, прислуга, вдова...
И под чёрною плотной завесой,
окрылившись прискорбною мессой,
взбунтовалась её голова.

Шляхтич-дед, неимуций родитель...
Нет, не муж был дельцов предводитель –



аккуратный и скромный фон Мекк –
в тихой спальне ей было сподручно
конкуренции сети и крючья
обмануть, быть железной, как век.

Когда средства их были убоги
и не умерли детские боги,
над страницей «Железной дороги»
горько плакалось – слёз нынче нет...
Как теперь ей одной без фасада?
Кто научит, где брод, где засада?
Кредиторы выходят на след.

Нюх звериный у этих созданий.
Знание притч колдовских и преданий –
оборона, да больно слаба...
Девять чад и десятый в утробе,
а в приданом – болотные топи:
всем от голода сгинуть судьба.

Вспоминая, вдова и не знала,
что кухарка семью называла:
«Нищebroды – крысиный помёт».
Чтобы красть не бывало соблазна,
мать семьи каждый грош по три раза
перечтёт. Слуги – вздор – лишний рот.

В слугах белая только кухарка,
остальное – сама: стирка, варка,
воспитанье, учёба детей...
Детство, юность исчезли в мгновенье...
Ей выписывали в именье
прихлебателей-учителей.

Стол скуднее, чем харч нищей бурсы,
тьма премудрых идей петербургских,
из глубинки внушаем побег.
Тут явился её избавитель,
благородней, бедней, чем родитель –
инженер – русский немец – фон Мекк.

Да когда? Как давно это было...
В миллионах теперь её сила,



и свободна она с этих пор.
Он на небе – ей рельсы отрада,
креозотовый дух через ладан
и чуфырканье поршней сквозь хор.

Сын пока на дела никудышный.
Из церковного пения слышно:
«Отпускаючи ныне грехи...»
У вдовицы строй дум нечестивый:
хоть бы займам проценты скостили –
нет, процентщики глу́хи-глухи́.

Но на диво они говорливы,
ходят сплетённые переливы,
будто это «Фонмекша» сама
не давала поблажки малейшей,
а честнейший, милейший, умнейший
силы тратил свои без ума.

И теперь вот хозяин во гробе,
а её ненасытной утробе
много надо – не спустит гроша.
Все враги, все истцы её живы;
воронё, налетев на поживу,
разлетится, не взяв ни шиша.

Век с апостольским максимализмом
размышляет она над трюизмом:
для кого, для чего капитал?
Каждый отпрыск довольно изнежен...
Если ты и в делах неприлежен,
на прогул тебе жёлтый металл?

Словно люлька с крестьянским дитятей,
мельтешит на цепях Богоматерь,
отмеряет, как маятник, срок.
Только музыка чуть отвлекает
о расчёта и в бездну толкает –
это обморок, морок и рок.

И пока доктора суетятся
над держательницею акций,



чудодействует в храме орган,
прихожане шипят: «Притворилась», –
пустота и печаль отворилась,
заслонив похорон балаган.

Родство

Кто звал меня? Я призвана сюда:
здесь жил конторщик, умерла русалка,
о том, что мне их было жалко-жалко,
в бумагах не оставила следа.

О том, что мать меня произвела
и наградила этими корнями,
я, кажется, писала где-то днями,
а где, не помню, – память заспала.

Здесь, на Мысу, в излучине реки
стоит зелёный дуб у лукоречья,
и дом, ушедший в серозём по плечи,
стоит в глазах. О, как мы далеки!

Меня судьба пихала на восток,
потом на юг, а прочих всех на запад,
но вольных вод неистребимый запах
накрыл меня с головкой, как поток.

Утроила я слезку за рекой.
Всех, кто отсюда – в родственный реестр.
Все выбыли, и стало много места,
и волком воют воля и покой.

Кому творю? Кому-нибудь твори!
Всё перепуталось, и души измельчились:
кто без чинов, глядит, как разночинец,
а разночинцы нынче, как цари.

В бумагах значился семьи Чайковских класс.
Без средств провинциальные дворяне,
а если что грядущее и грянет,
честь, как в столице, только про запас.



Урал и Кама. Воткинский завод.
Илья Петрович – горным инженером
тягает лямку. Он устал без меры,
он ищет место жительства, и вот –

намечено: Петрушу в град Петра.
Он вытянет семью из захолустья.
При проводах тщеславье смыло грустью,
и тронулась повозка со двора.

Он будет человеком по уму,
обучится по льготе в храме Права:
бери стезю и исполняй исправно,
а музыка заказана ему.

Взошли семейной чести семена:
в юристы, в адвокаты, в прокуроры
потянутся и братья в свою пору –
призвание в жертву – вот и вся вина.

Распятую музы́ку на кресте
он воскресил, его Господь сподобил,
но выкормыш семейственных утопий
нахлебников найдёт и в пустоте.

Чужую жизнь творишь, своя – вверх дном.
О, ближние! сомнения отриньте,
звук музыки в российском лабиринте
теперь отыщет он, как вещей гном.

Он спас семью и музыку спасёт.
Переложив Чайковскому на плечи
свою семью, – семь нот – увековечил
сам Рубинштейн и сам творца пасёт.

За каждым шагом слежка: глаз да глаз –
в доме профессора и замыслы не тайны,
и нет иного места обитанья:
рояль, горшок, и быт, и Бог – всё враз.



Последняя любовь

Профессор Рубинштейн, не сняв пальто,
бросается немедленно к роялю:
«Романс? Нет слов? И посвящён Арто?
Вы – гений! Всё успели! Всё объяли!

Простите, что вбегаю – не стучусь.
Какая искренность, какая сила чувств!

Она... Она достойная, быть может,
пристойного – не гения, как вы.
Шаг в бездну – и никто вам не поможет.
О, музыка! Нет, он влюблён, увы!

Вы всходите, как солнце на заре.
За Русь, за мать молю вас, точно нищий,
шаг в пропасть – брак, тем паче, с Дезире –
она вас доведёт до пепелища.

Быть мужем примадонны – блажь и блажь!
Оставить сочинительство, скитаться?!
За этот гармонический пассаж –
вас на божничку! Счастье? Может статься,

да не про вас. Для счастья вам разрыв
необходим, удары, катастрофы...
Когда душа – один сплошной нарыв,
диктует муза музыку и строфы.

Воспитана Полиной Виардо
тургеневская девушка Арто!

Как Маргариту пела! Хороша!
К ней поступить в мужья и поступиться
всем русским... Не к лицу вам антраша
свершать – вы не того полёта птица.

Её письмо в кармане у меня.
Всего, что я сказал вам, не хватило...»
– «Вас на свободу отпускаю я
замужеством. Мой муж – певец Падилла».



Предъявим счёт

В музее композитора, в Клину,
в архивном добровольном заточенье,
верней, в свободно избранном плену,
я трансцендентных рыскала значений.

Хождение чужих запрещено,
стирают пыль, шкафам разъяли створки,
глаза сигнализации в окно
нецеломудренно глядят на ход уборки.

Как молоко, потёк густой туман,
от одиночества озноб дерёт по коже.
Я тут, славянофил и англоман,
в тумане бытия – слепой прохожий.

Сегодня мне отказ во всём подряд:
хранитель фонд закрыл, туман – прогулку,
и вдруг сверх просьбы дали на погляд
соковища сафьяновой шкатулки.

В Гиркании, где саблезубый зверь
повымирал, где я живу поныне,
где перед ближним не закроют дверь
ни в миг удачи, ни в часы уныний,

цивилизаций, всем известных, нет,
но фотографии – куда я глаз ни кину –
портрет к портрету и ещё портрет;
штампуют их заезжие лезгины.

Для той шкатулки немец и француз,
заезжие в Россию, постарались,
и дома, проявляя большой вкус, –
там есть лицо – сатир из пасторали.

Он, собственно, уже не ждёт похвал.
Ответьте, Маргарита, экий дьявол
среди бела дня вас в жмурки обыграл,
кто правил этот нечестивый бал
и вас пихнул от божества да в яму?



Когда я лихо осуждаю вас,
себя стыжусь и обряжаюсь вроде,
не выставив изъянов напоказ,
в тень Гамлета в великом переводе.

Премьера «Бури»

Разрыв, и буря миновала,
и Божий дар принять изволь.
В шекспировское покрывало
российская зарылась боль.

Пять лет из пропастей депрессий
он лез и падал с крутизны.
Не до романсов, не до песен,
нет дела даже до весны.

Ноябрь-декабрь вдали маячат,
идёт-грядёт сезон премьер,
для музыки ничто не значит,
а что-то значит, например,

для публики и музыкантов:
одни – играть обречены,
другим – не дадено талантов,
зато традиции даны.

Во фраке Николай Григорьич
с волшебной палочкой в руке,
манишка белого пике,
он машет страсти, входит горечь,
а сам творец невдалеке,

обуреваем раздвоеньем,
иной выстраивал балет:
есть волшебство, тоска, сомненье,
а святости в помине нет.

О, диво-дивное – Одетта,
белейшая из царских птиц...
Одиллия колдует где-то,
приворожён и гибнет принц.



Ещё и Ротбарт злые козни
не сеял сам, но отвращал
(уж позже, в варианте позднем,
Модест нас колдуном стращал)...

А при своём возникновенье,
не силы зла, а сам герой
в неодолимом раздвоенье,
увлѣкшийся страстей игрой,
обманывает лебедицу,
готовый плыть в потоке лжи,
в воронках щепкою кружит,
и, не успевши повиниться,
он жизни сам себя лишит.

Раскланивается. Нахмурен,
а вызвали пять раз подряд.
Да это, кажется, за «Бурю»,
за старое благодарят.

Отдушина

Целый век до скончанья недели,
студиозусы поднадоели,
профессура – не видел бы век.
Вдруг, как гром, тихий глас раздаётся:
«С вашей музыкой легче живѣтся», –
на почтовой бумаге – «фон Мекк».

Позже снова записка, и снова
и родство, и прощенье сквозь слово –
их отринуть душа невольна.
Ожил дух, точно по мановенью,
вновь гармонии поползновенья –
полон кладезь, иссохший до дна.

На душе было муторно, гадко,
письма – выход. И снова загадка:
на безделицу лёгкий заказ,
гонорар, о принятые прошенье,
деликатно в сто раз превышенье
и от встреч деликатный отказ.



Ну, так пусть, в этой бытности душевной
не расставлено сотен отдушин,
потерять её – Бог упаси!
Как адепт спиритических магий,
стопки нотной, почтовой бумаги
исписал, – невидимка, вкуси.

Молитва

Как она благодарно вкушала,
будто этим одним и дышала
в раскупеческом пекле самом –
среди счетов сокровенные миги.
На страницы писавшейся книги
отвечала «бюджетным письмом».

Эта связь, как дурная, скрывалась.
В память пустошь одна прорывалась:
допотопный зажжён каганец,
воют волки, гуляют медведи,
там злодейски-весёлая ведьма
ворожит ей похожий конец.

В избушонке, почти завалюхе,
неприятно обычной старухе,
да не той, разбитной и живой.
Разжилась из печи прахом серым,
в доме пахнет и сеном, и серой,
из болот – преисподней травой.

Всё сбывается мало-помалу,
что она ей тогда нагадала:
войн, смертей и царей, и цариц,
и каких-то цыганских скитаний,
и каких-то высоких исканий,
незнакомых просительных лиц.

А душе и блужданий, и странствий
в запредельном при жизни пространстве,
быт земной – за ударом удар...
Ведь сбылось колдовство, нет сомненья:

вот «Четвёртой симфонии» дар,
вот о ней же газетное мненье.

Не с того ли болотного места
грех на ней, и она благовеста
ждёт-пождёт много-множество лет,
и в акцизию ходит на битву,
а в душе повторяет молитву –
исполняет желанный обет:

– Известной музыки скелет
в моём шкафу, в столе, в комодке,
на подзеркальный туалет,
фосфоресцируя, восходит,
в аптечном шкафчике сидит,
сложившись, точно метр-складень,
в огне поёт, в трубе гудит –
паркет в накрапе странных пятен.

Ну, вот и всё, потайных мест
нет больше в доме – он на волю –
всего имения окрест
в лесу встречается и в поле.

Мода, или один из множества мотивов переписки

Она:

Ваш фетиш – злосчастный гений.
Я его не понимаю,
но, признаюсь, тем не мене, –
в филологии хромаю.

Бесконечно солидарна
с Чернышевским и другими:
мне за прозой богоданной
не слышать вакхальных гимнов.

Погремушки-безделушки –
сладкозвучье неглубоко –
вот он, ваш хвалёный Пушкин,
хоть с какого видно бока.



Ответ:

Он мало прожил. Я хочу
продлить его существование.
Он был властитель наших чувств.
И до сих пор без пониманья.

Браните? Значит, глас живой.
Есть похвалы, что хуже брани.
Мой звук, да, упрощённый мой
(я льщу себя), как Пушкин ранний.

Он музе праведно служил
и дослужился до бессмертья.
Я стану из последних жил
служить ему. Уж вы поверьте!

Несовершенный, так и мы,
он полирует душу слогом –
в хвосте отсталые умы –
сперва нам должно верить в Бога.

Практичности в нём грамма нет,
и потому в наш век практичный
куда уместнее поэт
с чахоточною грудью птичьей,

поскольку нездоровый дух
расчётливости и торговли
разделявает в прах и пух
столпы нерукотворной кровли.

А ставит среди бела дня
столпы кривые и косые.
Без Пушкина, как без огня,
во тьме словесность и Россия.

Будь смертен Моцарт, всё вокруг
нас оскорбляло бы распадом,
а Пушкин – Моцарт, добрый друг,
в словесном роде и громада.

Вот я пред вами предстаю
за Пушкина как бы проситель.
Утroyте пристальность свою,
без понимания простите!

«ПИКОВАЯ ДАМА»

Хаос

Всё, Боже, начато с конца,
и он убил её и Лизу.
Ах, кто там шарит по карнизу?
Знаменьё мёртвого лица.

А в жизни он её не видел...
Он имени её не знал.
Жилище, комната-пенал,
капусты запах ненавидел.

О, то не Пушкин, то другой –
ей нравится, а мне несносен.
В окошке прозелень и просинь,
в душе то буря, то покой.

Нет, право, вывел полунемца:
Наполеон – ему пример,
так он вдобавок инженер,
ещё в регалиях путейца.

Гроза, и это знак небес
над Германновой головою,
лишь голос меди вторит вою,
и скачет честолюбья бес.

Она не Лиза, а другая.
Нет, я не Германн, я – другой,
бренчащий под чужой дугой.
Она мне – муза, полагаю.

Процентщица и муза мне?!
(Зловещенький романс Полины).
Какие сорвались лавины,
знак к знаку в яви – не во сне.



В век Моцарта спасусь-вернусь –
там всё не так членораздельно.
И отдыхать еженедельно!
Того гляди, с ума свихнусь!

Нет, это светопреставленье,
сей хаос должно обуздать
и до курноски появленья
я должен всё успеть раздать.

Остановись на миг, мгновенье,
молю со страстью, со слезой!
Являлись следом за грозой
нотариус и вдохновенье.

Логос

Что-то грозы больно часты,
знать, пекутся обо мне.
В Клин пора, а я, злосчастный,
зрю Флоренцию в окне.

Карантины по холере,
инфлюэнции, чуме...
Эй, кто там? Заприте двери!
Русский свист хандры к зиме.

Флорентийские крестьяне
просо сеяли и пели,
а лихие горожане
просо вытоптать хотели.

Как Флоренция, Петрополь
звуков чаёт, песен ждёт.
Дуб подгнил и вымок тополь,
да и просо не растёт.

Из подвалов мокрых проза
проросла на белый свет,
не родит Россия проса,
хор с Европы перепет.



Опера роднёю сводной
бросит в холод, бросит в жар –
для меня она народный
и российский тоже жанр.

Человечий тёплый голос,
как славянский оберег,
рвётся звук любви, как волос,
белый свет давно поблек.

Всё в секретах и наветах,
не увидь, не разгласи!
И душа стенает в бедах...
Боже, Германна спаси!

Там в гусарском доломане
новоявленный игрок
огнестрельное в кармане
на себя проносит впрок.

Ведьма старая побита,
дама Германна убита,
сумасшествие грядёт:
апокалипсис казармы,
и Наполеон бездарный
вмиг «собачку» возведёт.

За богатством не угнаться,
слух – в плену галлюцинаций:
– Погодите! Панихиду
обещали-с отслужить.
После за душой прииду –
в царстве света ей не жить.

Опера

Окончил оперу, а примиренья нет:
кощунственна и иррациональна.
Похвалят, что она национальна,
и этим уморят на много лет.



Я в зеркале не узнаю лица –
я разорвался – раздвоила лира –
до наших дней от сотворенья мира,
от наших дней до самого конца.

По чёрной лестнице я поднимался жить,
как Германн на свиданье к старой даме...
Трудней рождать – заманчивей изжить
то, что иные создают годами.

Три карты – блеф, и золото – мираж,
старуха – призрак, я – умалишённый.
Оружие, что выковал Лепаж,
суёт мне в руку случай искушённый.

Но я не тот, хотя уже познал
«от юности моя мнози страсти».
И дамы Пиковой Прекрасной идеал,
отчасти тлен, бессмертие отчасти.

Всенизшим призванный остзейский дворянин –
Вергилий мой – властитель главной темы.
Что жизнь? Игра. И непроглядна темень
в крещённый день и праздник именин.

Жизнь – Клеопатра. Я провёл с ней срок,
единственно из любопытства к смерти,
а вместо казни подают в конверте
монету за исполненный урок.

Что наша жизнь? Игра. А что любовь?
Слеза притворная? Прошение о прощенье?
Бездонных бездн в святыне посвященье?
Колода карт, раскупоренных вновь?!

Элегий ждут. Однако дождались!
Довольного собой не стронешь света.
Лишь вечные метаморфозы – жизнь.
О, песенка моя! А вдруг не спета!..



Сумерки семьи

– Хочу вам рассказать о завещанье.

– Вам есть, что завещать?

– Не мне – маман.

Вот копия бумаги.

– Клептоман.

Какими вы играете вещами!

– И что там? В знаньях нет большой вины:
он – секретарь маман, зять – член семейства.
В бумаге этой нам какое место
отведено?

– Мы все там учтены.

Но вот ещё: десятая доходов
Ростовских акций отдана...

– Кому?

– Чайковскому.

– Я что-то не пойму...

– Я этим сплетням не давала б хода.

– Вот документ, и кстати, – много лет
она его, как Бога, содержала –
шесть тысяч в год и ни за что ссужала.

– Шесть тысяч в год? Простите, это бред!

– Шесть тысяч? Фантастично! Мать скупая,
не выделит на платье ста рублей,
в обносках ходит до сих пор, ей-ей,
и акции казанские скупает.

– Пахульский, вы жандарм, шпион, изгой!
Как вы посмели!

– Успокойся, тише!

– Подписано?

– Не скреплено.

– Всевышний!

Она нам мать! А вы тут кто такой?

– Сдержись, я слышала, и это не обман:
дела промышленницы – притча во языцех –
один из пишущих, как выпьет, так грозит
придать огласке маменькин роман.

– Добро бы стать добычей записных
российских сплетников, а то за океаном
прославимся.



– А я с пустым карманом –
и выпить не на что...
– И нет забот иных.
– Нам нужно совершить переворот:
просить и требовать, грозиться и божиться,
прозрачно намекнуть ей, что за птица –
её предмет, и выслать на курорт.
.....

«Последний друг! Бесценный Пётр Ильич!
Пора бежать – в коленках паралич.
Подслушиваю. Это – крах полнейший.
Я схвачена безжалостной чахоткой
и собственными детками за глотку –
страшней страшит меня скандал дальнейший.

Нам пятки топчет бедность и банкротство,
а я пугаюсь вашего сиротства,
когда для вас исчезну навсегда.
Я – жертва современных обстоятельств,
а дочери – жёны графов и сиятельств –
присяжные Шемякина суда.

Из железнодорожных королей,
чем в князи, в грязи попадешь скорей –
придется полностью сойти со сцены.
Отец мой – русский наш капитализм –
такой мне уготовил катаклизм –
не пощадит ни за какую цену.

Прощайте, вы прочтёте между строк,
как страшно унижает низкий слог
воительницу банковских ристалищ.
Сумел ли хоть немного наш союз
обогатить великую из муз?
Простите, что нехорошо расстались».

– Что ж я стою! Расходятся уже.
Здесь только я пекусь об общем благе.
Пора бежать и даже мысли сжечь
и никогда не доверять бумаге.
.....



– Пахульский, вы? Спасибо, что пришли.
Я уезжаю в Давос подлечиться.
На завтра вызвать стряпчих и детей –
я объявлю на всякий случай волю.
Теперь диктую. Запишите: «Я
разорена и не имею права...
Прошу вас, вспоминайте иногда...»
Известному отправьте адресату.
– Кому?
– Не притворяйтесь, это стыдно –
вы более меня извещены.

Когда бы я не думала о чести
фамилии фон Мекков, вообще
не стала бы делить меж вас наследство –
делили бы посмертно, по суду.

И вас прошу, причастного ко мне,
как мужа дочери, секретаря,
заботиться о том же и в дальнейшем:
вперёд – о чести, после – об именье.

Сочинение Патетической симфонии

Я звуками преодолеваю
тупой перед брэнностью страх,
и, как на духу, присягаю,
что августом воздух пропах.

А это всего только осень,
её еле брезжащий свет...
но я на последнем износе
один с суетою сует.

Распластывает человека
порядок какой-никакой:
грудное вкушающий млеко
дрожит, предвкушая покой.

Я плакал, какие глубины
открыл мне подвластный канон:



надежды сошли, как лавины,
и вот, возвратясь с похорон,

летело ступеньками скерцо,
пока не забрезжил обрыв.
И это снесло моё сердце,
погибели путь перекрыв.

Симфонии, кажется, душу
я снова перезаложил.
Что с неба лилось, я прослушал,
кто вещей прознал, как я жил?

Кто выведаль эти рыданья?
Кто вызнал финал катастроф?
Такое со скорбью братанье
привносит с косою остов.

В моей беспросветной отчизне
я бренности вряд ли боюсь –
я, равный со страшною жизнью,
вхожу с антиподом в союз.

И в этом найду утешенье,
источник наш не оскудел.
О, муза, даруй мне прощенье
за тела последний удел.

Устал я с собою бороться.
Симфония – мой потолок.
Достоин сказать: «Аве, Моцарт!»
Пора! Я исполнил, что мог».



**Последняя молитва
Надежды Филаретовны**

Так мало сил в обычном человеке,
избранник пролил кровь, хорист, солист.
По пятистрочьям в чёрных каплях лист,
всяк круг прижал безжизненные веки.

В воронках чёрных нот вращенье слов,
значенья, потерпевшие крушенье,
звук на себя и многих покушенье –
для сатаны удачливый улов.

Какие обещанья миновали,
как будто не бывало синих птиц,
небесных журавлей, ручных синиц,
и гаснет мир в отчаянной печали.

Так много чёрных птиц, надгробных плит,
седых крестов, плетущихся растений...
И кротость, и любовь стоят в смятенье.
Не знаю, где душа, но как болит.

Как прислониться, пересилить жаждет
унылую дорогу бытия.
Бессильная, так прислонялась я
к его душе в невзгодах не однажды.

На этой для чахоточных мели
сидим повыше жизни-океана,
крупинки снега сыплются, как манна,
скелет с косою не скажешь, что вдали.

Одно прошу у Бога на прощанье,
земных мучений век укороти,
дай мне его в краю теней найти,
сдержи единственное обещанье.

Священный ужас музыки земной
был внятен мне, его я разделяла,
когда звезда Чайковского сияла.
Теперь, когда он в бытности иной,
и я готова, посылай за мной!



Заключительное отступление

*Свой подвиг ты свершила
прежде тела,
Безумная душа.*

Е. А. Баратынский

Свет романтизма не померк,
сiju в плену шеллингианства.
Мой век души не опроверг,
немало захватив пространства.

Одушевлённый воздух – вздор,
дышать и то почти что нечем,
анафемой забит простор,
но «мировой душой» просвечен.

А торжествует праздник свой
мысль – выползень из преисподней,
и гармоничен только вой
плетущихся на казнь в исподнем.

А суть совсем обнажена.
Велят с неё писать картину.
Душа беспмятством больна...
Как на скотину хворостину
беру, чтоб душу погонять:
скорей, скорей! Вперёд – к развязке!
Сама не всё могу понять
в своей невыдуманной сказке.

А ночью память отомрёт,
и все утихнут диссонансы,
и мрак продвинется вперёд,
вернувшись из заморских странствий.

Изогнутые зеркала,
как при покойниках, завесим.
Вселенная не так мала,
и дух не скован, пьян и весел.

Я рассыпаю семена
неорганических растений,



забыв все в мире имена,
две нескрестившиеся тени влетают.

– Вечность холодна, –
твердит одна.

Другая отвечает:

– Жарко,
невыносим посмертный зной.
Не ждали мы с тобой подарка –
встреч в этой бытности иной?

И тихо-тихо говорят
по несколько часов подряд.

Турецкой обуви хочу,
дабы не взрыть земного праха,
а самолётом полечу –
за души изнываю страхом.

Бездействие отрадней мне.
Когда восходит тьма святая,
летит одна душа в огне,
другая в инее влетает.



ВО ВСЕ СТОРОНЫ СВЕТЛО

* * *

Загуляли листья с самой ранней рани,
под забором дрыхнут, бледны и пьяны.
Мы с тобой счастливыцы – гордые дворяне –
дом у нас из камня, закрома полны.
Ветер-голодранец дует, голый, босый,
опьянён резнёю, полюбил разбой.
Жёлто-красной кровью истекает осень,
что же нам тревожно с нашей – голубой.

Мало ль нам свинцовых выпало прелюдий,
нам ли удивляться проискам зимы!
Сад наш обезлиствел, город обезлюдел,
воздух полонили смрадные дымы.

Где моя отрада, где весны беспечность?
Холодно, и мы из дома ни ногой...
То возьмёт за горло, то отпустит вечность,
с хохотом шурует в топке кочергой.

Родина

Я живу в неведомой земле,
родина – расселина в скале,
брешут одичавшие собаки,
из земли репы растут – не злаки,
и поют не иволга и дрозд,
но вороны каркают уныло –
их стервячье племя в небо взмыло,
червеносных не сыскав борозд.

Несравненной Родине моей –
не чета оазис и розарий,
лик её суров и светозарен
в чёрной оспе выжженных камней.
Много выше уровня морей,
много ниже Бога – ближе к зверю...
В эту землю праведную верю,
заступом за хлеб воюю с ней.



* * *

Счастливой юности года,
моей плясуньи нежной, гибкой
цивилизация погибла
и не вернётся никогда.

Мы старимся за ней бегом,
и наша старость несвятая
ещё торопится, болтает
отныне мёртвым языком.
Никто не слушает меня –
изменницу апрелю-маю.
Дитя, я вас не понимаю –
язык ваш невзлюбила я.

С одною бывшею звездой,
повязаны одной бедой,
мы тихо обнялись на кухне.
Друзьями брошены, родней,
одни меж небом и землёй
мы вслед за очагом потухли.

* * *

Искушают снега накануне весны.
Чтобы нам не приснились зелёные сны,
занавешены окна пургой.
А когда всё воспрянет, и все оживут,
мою душу снега за собой позовут,
полетит, как за вестью благой.

И другую благую и добрую весть
ни капель, ни ручей не сумеют донести,
ни гроза, ни жара, ни вода...
Стану душу молить: воротись поскорей,
а она через лёд океанов, морей
лишь со снегом прибудет сюда.

Как нестройна настройка берёз и дубов...
А зима нахватала узлов, коробов,
унеслась, бубенцами звеня.
И, пока деревянные глухо звучат,



солнцемедными гомон весенний зачат,
но никто не разбудит меня.

Среди почек набухших, без веры в просвет,
без надежды... И Бога, наверное, нет.
Так и стану ваш свет оглашать.
Мрак под солнцем и холод зову без конца,
вместо сердца – морозящий слиток свинца,
а всё жарко, всё нечем дышать.

Настроение

Настройщик, настройщик, настрой мои струны,
настрой мои жилы, настрой мои мысли.
Запенились гребни, барашки, буруны,
и тёмные тучи безмолвно нависли.

Нет музыки прежней: ни бреда, ни блажи,
и чувства, и думы, и страсти убоги,
Небесный судья недостаточно страшен,
страшней, что отца не признала я в Боге.

И вот сиротой без любви и без страха
кукую над белым безмерным пространством,
а что там виднеется: крест или плаха,
сума, иль тюрьма, или нищенство странствий?

А что там чернеется? Чёрная речка?
Куда там! И этого мы не заслужим.
Стреляешь – осечка, стреляют – осечка,
не ворон – воробушек жалобный кружит.

Отец ли родимый, судья ли гонимый,
певец ли – соперник весны соловьиной,
а вдруг – соглядатай, вдруг – бес анонимный –
и всё над моей головою повинной.

По штилю в беззвучие я отплываю.
Настройщик, настрой, натяни мои нервы.
Кругом пустота – на тебя уповаю,
единственный встреченный, встреченный первый!



Белка

Обобрав в горах орешник,
белка селится в скворешник
спать и ждать: придёт весна.
Иногда на почве хлюпкой
отыскав две-три скорлупки,
успокоюсь – тут она.

Сад – свобода, а не клетка;
я её встречаю редко,
спит и спит, не сунет нос
в слякоть, в бурю, в сумрак, в просинь;
ничего себе не просит
в оттепели и в мороз.

И когда бушует лихо,
и когда смертельно тихо,
свету, кажется, конец,
не цветёт ничто, не зреет, –
без огня и дыма греет
приблудившийся жилец.

* * *

Шелками шелестя,
отдёрнула гардины
сто тысяч лет спустя,
у самой середины
твоей, моей любви.

А за окном разгул
и суета мирская,
она – несносный гул,
она – волна морская
и даже океан, стоящий на крови.

Жаль преступить порог
и ринуться в пучину.
Не замочивши ног,
не визнаешь причину
конца. А знать пора.

Прощай! Волна несёт.
Увидеться непросто;



сквозь пекло рвёшься в лёд...
Любовь – ещё подросток,
уже, как мир, стара.

Отныне каждый стук
несёт иное знание,
уже замкнулся круг,
живёшь воспоминаньем,
и вакуум роднит.

Из прежних – миг любой
навек сохранится.
О, старая любовь!..
(А новая не снится).
Одна меня хранит.

* * *

Дитя Невы, тумана и мороза,
на окрик, ухмыляясь косорото,
он вышел из славянского навоза
с еврейской квотой.

Однако жил на финском берегу
в кругу одноимённого залива,
покуда ветвью греческой оливы
не поманил его развратный Рим...
Попутный ветер непреоборим,
и искус, точно змей многоязыкий
дразнил сложением чужой музыки,
коллоквиум про душу затевал,
духовной нищеты девятый вал
раскидывал, как невод преферанса,
и общих мест роскошное убранство
за подвиги культуры выдавал.

Он обитал не там, а в русской речи,
в нетях на русской почве и далече,
теперь уж нет его на белом свете.
Но только лишь слепоглухонемой
сей звёздный свет и голос не приметит,
без плоти воротившийся домой.



* * *

Я здесь живу, как инопланетянин,
меня и за рубеж уже не тянет.
Взыскует ли душа туристских благ,
дабы перебежать под чуждый флаг?

Взыскует ли душа вещей и славы
на неизвестной стороне Луны?
Пропасть в безвестности, о, Боже правый,
заложники твои обречены.

ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ...

1. Вдохновение

Что там светопреставлень?!
Даже ветра дуновенье,
птицы пенье, нетерпенье,
солнца знойного затменье,
белой радуги явленье,
свет без Бога, без креста
может смыть пейзаж с холста.
Где набраться вдохновенья?
Стой! Остановись, мгновенье!

Вот оно – почти бессмертно,
распростёрлось экстравертно,
но дрожит и ждёт конца,
жаждет, просит быть воспетым,
день и ночь оно об этом
плачет с посвистом свинца
слишком близко от лица.

Регрессивно, прогрессивно,
агрессивно и пассивно
всё пригодно, всё знобит,
всё без очереди блещет,
притворясь обычной вещью,
вдруг посмотрит рыбкой вещей,
как ты молод, как забит.



Сколько тонн тоски и быта
в нашей Богом позабытой
беспрерывной новизне,
в нашей почве безыскусной...
Но душа полна предчувствий
информации извне.

2. Оловянный натюрморт

На блошином рынке далеко от дома
продают за марку оловянный лом.
Что мне ложка с плоской формы незнакомой,
но без них неполной чашей смотрит дом.

Оловянным хламом в плоском натюрморте
буржуазный немец был весьма прельщён,
и буквальным образ, – главное не портить, –
давши крюк, в родные земли возвращён.

Мотивы Иоанна Дамаскина

Не Иуда-блудодей,
я – раскаянный злодей –
не избег позора.
Слава Богу, что есть Бог –
бедному опора.

Умереть вблизи Христа,
с ним быть снятым со креста –
большого не надо.
Слава Богу, что есть Бог –
бедному отрада.

Ангел лестницу даёт,
ближний мёртвых уберёт –
грустная дорога.
Слава Богу, что есть Бог –
бедному помога.

Ангел тихо говорит:
благостыня этот вид

без кимвалов медных.
Слава Богу, что есть Бог –
утешитель бедных.

* * *

В колючей проволоке нот
я колочусь, как птица в клетке,
как тигр, мотаюсь взад-вперёд
и мысленным ходам, как крот,
даю простор. Живёт мой род
точь-в-точь, как отписали предки.

Стекло-хрупкий инструмент,
для ораторий слишком нежный,
стоит мой цензор, стражник, мент,
диктует опус безмятежный.

За краткий миг моей судьбы,
за дым обугленной трубы,
за хлеб насущный с крупной солью
я предаю понятный вой
под бездной звёздно-голубой
в публичных проигрышах сольных.

В колючей проволоке нот,
в быту горно-цепных широт
я с партитуркой, брэнно-тленной,
бреду, цепляясь каждый миг,
за предпоследней боли крик
просторной, трепетной вселенной.

Ты мне не друг и не родня,
и защищён, и равнодушен...
Эй, кто-нибудь, прости меня
за стриптизёрку-девку-душу.

* * *

Когда супостат приползёт на коленях,
когда святотатец затихнет в моленях,
когда затрещат в моей печке поленья
и маленький род четырёх поколений



настроит прожекторов на тысячу лет,
а я ещё буду живой, невредимой
гулять и резвиться на травке родимой,
земную дорогу пройдя до середины,
приветливой стану – пошлю вам привет.

Покуда от бранных забот нет свободы,
и рушатся оземь небесные своды,
и праздник, как деньги, украли уроды,
а я, как савраска, судом занята,
гармонией вам не смогу прислужиться,
уж лучше с юродивыми подружиться,
уж лучше на Бога во всём положиться,
покуда всё тлен и сует суета,
и пусто, и нет за душой ни черта.

* * *

Я жила на волшебной горе,
но в ужасно убогой норе
и решилась, и пуп надрывая,
я пристроила лавочку рая.
Никуда от неё не хожу:
тут стою, тут сижу, тут лежу.

Некто вымышленный, тороватый
подсылал ко мне склизкого ската,
тот учил: «Ты не знаешь свой рай –
на меня пересядь, полетай!»

*«Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы летим на последнем крыле...»*

Петь, пожалуйста, за ради Бога...
Но лететь от родного порога?
А тем паче, на рыбе летать –
хвост горит, но крыла не видать.

Я на лавочке слушаю птицу,
мимо ходят знакомые лица,
я гуляю вдоль стройки вприпрыжку,
я на звёзды люблюсь всю ночь,
лягу, гляну в любимую книжку

и горланю стихи во всю мочь,
со щенком и котёнком играю,
и не надо мне лучшего рая.

* * *

Неужели, неужели
это лето, в самом деле?
Неужели, неужели
это солнца поворот?
А не то зачем лягушки,
сплюшки, соловьи, кукушки
голосят свои частушки
дни и ночи напролёт?

Даже старые старушки,
Озорницы-хохотушки
позабыли снег и лёд.

Рисовальщица-подружка
пишет древние ракушки,
очень древние ракушки
и молоденький приплод.

Всё земное вновь гнездится,
подновляет домик птица,
роет выход к солнцу крот,
пчёлка в соты носит мёд.

Незачем тянуть резину –
солнце растопило зиму,
свет сквозь дождь на землю льёт,
срочных дел невпроворот.

Хвойный лес

Вершинами в тучах лиловых...
В дремучести веток еловых –
явление сакральных глубин.
Простуженный голос кукушки
пророчит в кустах на опушке
влюблённым, безлюбим, любим.



Явившись в сей мир путешествий,
я – беженец, жертва нашествий
на душу поэзий и проз –
под музыку бледной подделки –
пастушьей, кукушьей сопелки –
за миг до безудержных слёз.

Репьи в маскарадном отрепье,
вяжусь паутиновой крепью,
осталось мгновений в обрез.
Чудит кораблём сухопутным,
качается с ветром попутным
стотысячемачтовый лес.

Нескучно в дремучем безлюдье:
в беззвучье взведённых орудий,
и вахтенный сказочно спит,
одна атлантистка-артистка,
земель и морей пародистка
шпионские карты кропит.

Не будет побед, поражений,
кровавых и дымных сражений,
не будет резни и стрельбы...
Останется праздная вечность,
и смеха, и слёз бесконечность,
и лес для любви и гульбы.

* * *

Кровавым варваром с бескровным интеллектом,
разъятым трупом под чужим проектом
влачусь по светлomu в незнаемую тьму;
то птичкою, бескрылой, безголосой,
в лоскутных перьях, но простоволосой,
с мольбою уст – ни сердцу, ни уму.

Сдаю в ломбард последний шанс, как душу,
бегу водой, как посуху, на сушу,
а суши страшно пуце топких мест.
Я пред Тобою – горстка глинозёма, –
Ударит ветер в парапет казённый
и оторвёт мой якорь, то бишь, – крест.



Кто слишком долго солоно хлебает,
о пресно-постной жизни забывает
в погоне за добычей небольшой.
О, как боюсь, что вам не пригодится
словес моих прозрачная водица –
нет у меня другого за душой.

**Стихотворение, написанное в ночь
отсутствия электрического света**

Ах, не тряхнуть ли старой стариной,
не написать ли мне стихотворенье,
о том, что донкихотство и боренье –
ничто, а жизнь проходит стороной.

Какою стороной? Моей родной,
где я отсутствую, где я не проживаю,
откуда пройдена тропинка ножевая,
и нет – назад хотя бы ножевой...

Я здесь, в бедламе, резвая, как вор,
как мельтешило, чуждое гармоний,
живу себе, чем дале, тем лимонней,
плюжусь на поношенье и позор.

А судьи кто? О, горе – судий нет,
и Судия молчит – не прорицает,
но что-то бесподобное мерцает
и в старость-гадость проливает свет.

* * *

Мне было дано,
как в кино,
любить и дожидаться ответа.
Прошло незабвенное лето,
и тихо вокруг, и темно.
Карету!
Подали карету.
Открыжена красным крестом
в своём назначенье простом.

На подвиг спасите меня!
Ведь я ничего не свершила



во имя семейного жила,
пока разбегалась родня.

Я в доме большом, как пустыня,
и в тихом больничном саду
по бреду без брода бреду,
буянят тоска и гордыня.

2008 год

О, високосный год, тяжёлый лишним днём,
но всякий день, как день благодаренья
за то, что неизменно мы вдвоём,
за солнце, за снега, за травы и плоды
и даже – за смиренные труды,
грозящие сумой или тюрьмой,
ничуть не породившие сомненья
в твоём существованье, Боже мой.

Без зла добра никак не отличишь...
А мир, как мир, лишённый благодущья,
суров. Гляди, беззлобный певчий чиж
без зёрнышек, но ведь не умирает,
и ворон Твой, и волк – в лесу без крыш
довольны перевозанным зимним раем.

В своей поре неповторим и вечен
Твой белый свет – он мальчик, он старик...
Соломинкой отягощая плечи,
продли мне срок на безвозвратный миг.

Орешина

Последним цвёл и первым облетел
в моём саду орешек чужестранный –
безлистый крест для распинанья тел –
пред ним я распинаюсь в клятвах странных.

Вот оккупант, по имени страны,
он грецким называется в народе.
Стоит себе никчёмней бузины
у киевского дядьки в огороде.



Столпом напоминаний для души
пускай стоит себе – земли хватает
в южно-сибирской кочевой глуши.
Пространства вволю, только время тает.

Кто будет так любить его, как я,
кому навстречу будет ветвь топорщить,
как из-под ног моих уйдёт земля.
Кто ответит топор бродяг промёрзших.

Тебе никто ни разу не помог...
А дереву? Прощайте! Будь, что будет.
Вдруг странник, или ангел, или Бог
вблизи ореха совесть распробудит.

Любимое кино

Помню школьные наши привычки:
мы – коричнево-чёрные птички,
с белой шейкою воротника,
и с руками в чернильных разводах,
перелётны в любой месяц года
мимо школы и под облака.

Новый город напал на мой прежний,
слава Богу, тогда не забрезжил,
а не то бы... Какое кино?
Силиконовым выполз ампиром,
сквозь балясины смотрит вампиром –
крови нет, и душонки – рядом.

В киноclub «Гордорстрой» на Пугаске,
по наводке, суфлёрской подсказке,
мне, как птице, летится одной
на картину «Пока ты со мной»,

выше домиков одноэтажных,
ниже воронов, сплошь эпатажных.

Главный ворон – артист Отто Фишер.
Этот немец мне послан был свыше.
Научил меня повод давать:
к Отто Фишеру – всем ревновать!



Я избрала из всех школьных формул:
мир любовью ко мне переполнен,
влюблена и соклассников рать;
несмотря, что ношу лишь обноски я,
каждый олух желает знать,
где сидит, где гуляет Фроловская.

Я пьяна без вина – сердце в скачке,
в семицветной, смертельной горячке.

По каким я задворкам гуляла,
всех ребят к Мери Шелл ревновала.
Всех подряд к Мери Шелл ревновала.

Ворон

Я правильно выбрала тему моей курсовой –
я перетолмачила Эдгара По на народный.
Заходят Зенкевич и Бальмонт, и Ворон живой –
лет триста ещё не прошло – ходит-бродит голодный.

Прошло полстолетия, я схоронила свой труд
в бумажной могиле, на кладбище первых творений.
Хожу в ностальгический, в мой ежедневный маршрут:
в эпоху любви, первых сполохов и озарений.

Шажком вокруг беседки моей нарезает круги
немыслимо чёрная птица – старинный знакомый;
летать он не может – крыло перебили враги;
он пешим дошёл по своим непонятным законам.

И в самое время! Я долго-предолго ждала –
уже угольки по отдельности гаснут в камине...
Ведь я никому не сдала в моём сердце угла,
но верно хвастаться – этого нет и в помине.

Сдаётся душа, перепахана бурей до дна, –
пришёл «Nevermore» и взмолился: «Подайте помощь!»
Невидимый Господи, я этой птице видна,
я ей помогу, не тревожься за чадо, ей-богу.

За грех человека меня пожирает вина.
Ковчеги не строят, и нет сердобольного Ноя...
Тебе не видать, а у нас – за войною война,
И жертв слишком много – не только крыло вороное.

Слава Богу!

Я поэт – невольник чести,
оклеветанный молвой.
Слава Богу, я на месте.
Это я – никто другой.

Полнотою жизни бренной
я вполне награждена –
не дано затмить вселенной
чаши, выпитой до дна.

Слава Богу, где-то близко
устремлений образец,
и живу, не зная риска –
без следа пропасть вконец.

Благодарна, Боже правый,
в небеси и на земли, –
ни доносом, ни расправой
подлецы не обнесли.

А ночами в утешенье
были тайные пиры:
пир молитвы, пир спасенья
и прощения дары.

Я – не бедный, я – богатый
рыцарь Матери Твоей,
чьи глаза темней агата,
беззащитней голубей.

Я своей довольна долей.
Путь снегами замело,
выйду в лес, на речку, в поле –
во все стороны светло.



Пришествие второго утешения

*И отрёт Бог всякую слезу с очей
их, и смерти
не будет уже, ни плача, ни вопля,
ни болезни
уже не будет, ибо прежнее прошло.*

Откровение святого
Иоанна Богослова

Утешил. Не осталось ничего.
Нет слёз, и смех в природе не остался,
и падший ангел в муках распластался –
нет сердобольных утешать его.

Пируем по чуме две тыщи лет,
по мору, чтоб ни плача и ни вопля...
Тишь невозможно превозмочь, хоть лопни.
Как будто Бога не было и нет.

А Полубог чуме пропел хвалу
и вышел вон, и в небе отдыхает,
когда народ, как муха, подышает
на смертоносно-медленном балу.

Кто подал жизнь микробу и звезде?
Ты, Господи? Ведь ты во всём замешан:
в бессмертье, в войнах, в смерти Гильгамеша
и далее во всём, всегда, везде.

То глав под пеплом в поле городьба,
то украшаешь тернием, то миртом,
листочек лавра спину ломит флиртом
со славою, сугулой в два горба.

Да, это Гоголь – я не про себя...
Он всех бедней, бедней церковной мыши.
Кричу казнямая: «Ты, батька Гоголь, слышишь,
как я молюсь о царстве для тебя».

Вопить и плакать, умирать, болеть,
спастись и жить хотя бы под забором,



и никого не напугать разбором,
как лучше, как вернее околеть.

Уходят, на устах неся печать,
не все же враз, а редко, редко, редко.
Молиться вслух о вечной жизни предков,
о том, что прежнее прошло, молчать.

* * *

В пору полива, порой сенокоса,
часом светлейшего в жизни рассвета
май-азиат, длинногривый, раскосый
бегает взапуски с утром и ветром.

Ох, уж минует нас эта потеха,
то-то попрыгаем на сковородке,
в тёмных лощинах упрячется эхо,
только и выбежит ночью короткой

с совами ухать, да воздух понюхать,
покувыркаться на высохшем сене.
Дождик не влепит огромную плюху.
Май обрусел и подался на север.

В полдень суровый, в разгар переплавки
тишь нависает на ухе серёжкой,
если и свистнут в смородинах славки,
разве ошибкой... Пустынны дорожки.

Райские кущи, а тишь гробовая,
шланг еле прыскает – чаще в простое,
чашу приствольную ствол выпивает,
горькую чашу густого настоя.

Что пережарилось, в пекле сварилось,
кажется, умерло – вдруг оживело.
А для чего это всё натворилось?
Всё наплодиться и вызреть успело.

Тишью пугая, жарой угрожая,
красное лето над нами летело.
В пору уборки земных урожаев
видим: и пекло пекло ради дела.



* * *

На поле вянет, удушая, сено –
вчера скосили, да не подгребли,
а спелых трав, несаженных, несеяных,
невидимо у видимой земли.

Повыпрастались из штанов рубахи.
Вжик, – косы, – вжик! От зори до зари –
башки с репьев летят при каждом взмахе –
по неудобицам гуляют косари.

Лошадка счастлива жевать не концентрат,
травью пахучее, оно куда вкуснее.
Петух запел в четыре аккурат
и опоздал – покоса день синее.

До петухов немало накосили,
а сколько не покошено ещё...
Когда же солнце треть небес осилит,
кухарка мчится с кашей и борщом.

К арыку тянутся умыться, освежиться –
вода бурлит под строем тополей;
через бурьяны трудно проломиться –
сюда трава сбегается с полей.

От вкуса дички зверски сводит рот –
арык поёт, поит и рад стараться.
В тень головой прилёт вздремнуть народ,
и дальше некуда покою простираться.

* * *

Жена с утра наводит блеск в сарае,
и сам выходит, озирает дол;
темно, и только запахи играют –
роса и пыль, бензин и солидол.

Мир сумерек для запахов распахнут,
то жаром бани выдохнет курным,
травой, взаправду молвить, и не пахнет,
но пашней – точно молоком парным.



И пашня зазывает, тянет, манит –
ей время, и забот главнее нет.
Всё спит, один, бессонницей измаян,
сперва на улицу врывается рассвет,

потом спешит взглянуть на огороды,
заглядывает в окна чердаков.
Куда ему деваться от свободы –
деревня в поле – воля без оков.

Пошёл звенеть то молоком в посуду,
то гоготом проснувшихся гусей,
то жаворонком, слышимым повсюду,
во всей вселенной, во вселенной всей.

Сады сереют сучьями, но почки
уже набухли, и в глазах рябит.
В ухабе снег, но зеленеют кочки,
и путь наезженный просёлочный размыт.

Как он разбит, разъят и унавожен
стараньями увязнувших коров.
Весна? О, нет! Нет, быть весны не может
до стрёкота весенних тракторов.



С Е Р А Ф И Ч Е С К И Й В О С Т О Р Г

Уцелевший парк

Прямо в тучи грозовые я лечу с воздушным змеем,
по ногам орляк змеится, загулявший с весны,
я со змеем, став смелее, верю, что добыть сумею
солнце в россыпи заката с переломленной сосны.

Парк и небо, как с картинки,
громко чавкают ботинки,
я несла орехи белкам, продираясь по ключу.
Я уже не разбираю, где болотца, где куртинки,
забрела в шуршащий хаос и от счастья хохочу.

Помню, на велосипеде я с приспущенною шиной
и с вертящимся, как флюгер, разболтавшимся седлом
намотала километры, петушино всполошила
по обочинам дороги каждый тайный птичий дом.

Тут я чуть не обогнала свою собственную гриву
разлетевшихся от ветра, снегом вымытых волос...
Стоп – на парковой скамейке нас любовью озарило.
«О, прости – прощай навеки!» – ухнуло, отозвалось.

Три песенки для лирического сопрано и волянки

1

Марк Шагал смешно писал картинки
С девушек, свалившихся с луны
(Да, с луны, да, с луны...)
А на них высокие ботинки,
(ужасно высокие ботинки)
Юбки первой мировой войны.

С красавицей невиданной –
Летающий жених.
И каждой паре выдано
Полнеба на двоих.

С красавицей невиданной –
Летающий жених.

Он зовёт,
Он летит,
Он поёт.

И каждой паре выдано
Полнеба на двоих.

Он целует,
Он милует,
Он вещает,
Обещает.

Похожи на других прохожих,
Мы уже взлетаем – ты меня лови.
Картиной путь давно проложен –
Это наши чувства – живопись любви.

Мы с тобой одни –
Не видать родни,
Никаких врагов,
Никаких долгов.

Можно насладиться,
Полетать, как птица,
И попеть, как птица.

Ты зовёшь,
Ты летишь,
Ты поёшь,
Моё солнце.

Солнце светит,
Солнце светит.

Ты – счастье, ты же – моя радость,
Ты летишь без крыльев выше старых крыш.
(старых крыш... старых крыш...)
Ты – свет мой, поцелуя сладость,
Ты мне лампочкой в небе горишь.

Ты горишь,
Ты горишь,
Ты горишь.



2. Этот миг не повторится

У любви свои законы:
В час венчальный перезвоны,
И весенних горлиц стоны,
И глаза твои бездонны ...

Колдует лес.
Дождём с небес –
Звёздный блеск,
Ночи блеск,
Страсти всплеск.

Я хочу уснуть, забыться –
Опускаются ресницы.
Этот миг не повторится,
Но кричит от счастья птица,

Летя к земле
В рассветной мгле.
Зной и лёд,
Зной и лёд –
Мой полёт.

Сон не снится, час рассвета,
И стоит в зените лето,
Вопрошает, ждёт ответа:
Песня спета, иль не спета?

В ответ с тобой вдвоём
Неспетое споём.

Страсть, как северное лето,
Улетает без привета.
Наша песенка не спета,
Наша песенка не спета,

И мы с тобой вдвоём
Ту песенку споём.



3. Мой ясный свет

(для голоса и шотландской волынки)

Ты и сам пока не ведаешь,
Почему за мною следуешь,
Но меня учи, учи!
От сияния слепящего
Мы не видим настоящего –
Две блуждающих свечи...

Ты – первый мой,
О, мой земной

В очертаньях мироздания
Все небесные создания –
Просто млечность и туман.
Что гаданья, что пророчества
В бесконечном одиночестве,
Если ты мне Богом дан?

Ты Богом дан.
О, мой земной!

Но пустынная, надменная
Усмехается вселенная...
За собою позови!
Безымянны, точно странники,
Друг для друга мы избранники
И пристанище любви.

Ты Богом дан,
О, мой земной!

* * *

Что-то сад мой никак не навеет
мысль о бренности, о листопаде,
даже если мороз хмуро белит
тени веток на ветхом фасаде.

Скольких ты пережил постояльцев,
скольких ты усадил над тетрадью.



Как икона в кирпичных пальцах,
ты ещё вышиваешься гладью.

Еле видимый за порошей,
ты ещё полон яблок запретных,
всяких яств и питейных роскошеств,
обещаний и клятв безответных.

Мне не жалко, что люди бренны,
ведь они при твоём тихом лике,
рассеваясь по целой вселенной,
птиц твоих слышат зовы и клики.

Ты красив, точно Бог и предвечен,
всех моих обступаешь оградой
и звездой до почвы просвечен,
ты мой орден, мой праздник, награда.

* * *

Он в нагольном тулупе на голое тело,
он в пимах непомерных на босую ногу,
если родина эдак его приодела,
на заморские вещи не сменит дорогу.

Он спешит в дровяник во дворе за сараем.
Зимний день неприглядно короткий и праздный.
И вот это у них называется раем
в крайне южной Сибири, в снегах непролазных.

Ну а то, что он голый, так это неважно,
ведь пустынной пустыни простёрлась округа –
не один он живёт, одиноко отважный –
веселее котёнка у печки подруга.

Плотность жителей – трое на сотню гектаров,
да и то третий лишний – пусть катится к ляду.
А они друг для друга бренчат на гитарах,
кроме дров, ничего, ничего им не надо.



* * *

Маньчжурскими орехами,
подсолнечником, хлебом
кормлю носатых приживал,
бомжующих под небом,
но захвативших старый сад
немало лет тому назад.

Шустроглазые синицы
налетают на страницы
и клюются, и шипят,
прочь с дороги всех теснят.

А невинная бумага
белоснежно-белым флагом
сдаться в плен им норовит,
тихим голосом скулит:

«Напиши же, напиши,
свистом, писком и фальцетом,
чтобы было от души,
чтоб зимой играло лето».

Лист, гуляя ходуном
под рукою, умоляет...
Мысли умные – вверх дном,
просто дурака валяют.

Ах ты, птичья голова,
знаешь птичье слова!

Всё же выхожу вперёд
в человеческом обличье.
Что подумает народ,
если закричу по-птичьи?

* * *

Когда снега заполонят
пространства крыш, холмы и сад,
дороги, рощицы, поляны,
леса,
просветы в небеса,
весь купол неба, всклень стеклянный,



а ты стоишь, как нищий, просишь
ещё снегов, чтоб позабыть,
что надо быть или не быть,
и снег в тоску горстями носишь.

О, белый, белый снегопад.
О, ежезимняя отрада!
Виднелся в окнах старый сад,
и нет под снегом даже сада.

И нет луны в час полнолуния
и звёзд. Лишь звёздочка-колдунья
снежинка вычурно летит,
кружит кружавчик шестигранный.
И сколько их? Сугроб охранный
покой души не возмутит.

Затмилось солнце, вьётся снег,
протяжный день, беззвучный смех...
Какое чудное мгновенье –
день отдых, день отдохновенья.

* * *

Что почитать?
Да мало ль в доме книг?
Ещё компьютер есть. О, этот может в миг
забить все паморки, навеять катастрофы,
оттусовать тебя, когда родятся строфы.

Уж после ничего ты не родишь,
но поглотить, позорно и не споря.
Поберегись! Не отопрёшь, поди ж,
ларец Пандоры – мало тебе горя?

Кто лучший автор, гениальней прочих?
Бери словарь, читай один словарь.
Тот автор дух и интеллект упрочит,
особенно, когда метёт январь.

Начну с конца, с семнадцатого тома.
Вот это радость, что нашёлся дома
словарь на сотню тысяч свежих слов.
Вот это Жизнь – основа из основ.

Да, вот ещё: читать календари –
занятие, достойное поэта.
Бывает, я до утренней зари
вожусь, зимой перекрываю лето.

Календари читайте!
Всех прошу
читать календари –
я их пишу.

* * *

Какой соглядатай бумаги мои озирал?
Я чувствую взгляд, наклонясь над столом, за спиною,
и мне не хватает по курсу обычных зеркал,
чтоб всех изловить, кто так жутко играет со мною.

А впрочем, пускай наблюдает, зачем же мне вспять
пятками тащиться? Какие в поэмах секреты?
Я только смирилась, и вот оно снова, опять
глядит, не мигая, крамольные ищет ответы.

Но я безответно пишу себе, что захочу,
и если случайно шпиона того повстречаю,
в глаза ему по-сумасшедшему захохочу,
а, может быть, и пристыжу, головой покачаю.

Совсем не туда я пошла, куда Бог намечал,
безбожно приставили этого гипнотизёра.
А он-то стучит, как в любую эпоху стучал,
и я обмираю от яви призора-позора.

* * *

*«Дубовый листок оторвался
от ветки родимой...»*

М. Лермонтов

Что-то хочет сказать безъязыкий дубовый листок,
что он здесь проживал, а сегодня летит на Восток,
потому что туда же и западный ветер летит –
за компанию легче... чужбину он с ним посетит.



Я стою на пути, он прижался к холодной щеке
и мешает отбросить его равнодушной руке,
прямо в ухо мне плачет – безвестность так сладко томит, –
но по коже дублённой он тленом нещадно побит.

А дуброва на привязях, на предпоследних и ветхих,
плохо верит, что ей же не век красоваться на ветках,
и она митингует, и шлёт отщепенца долой,
и клянётся: вернётся – хозяйка не пустит домой.

Он раздумал лететь. Я сняла толстый том с этажерки
и пленила его, и захлопнула книжные дверки.
Он лет двадцать лежал в пожелтевших, тиснёных листах.
Навестила страницу – он жив, не рассыпался в прах.

* * *

Вы теснились в каморке на съёмной квартире?
Или вы отдыхали на дачах казённых?
С ресторанным питанием, при теплом сортире,
за кирпичным забором в садах обнесённых?

Вы же в очереди за куском пеклеванным
сотни исповедей ухитрялись прослушать,
А соседский шпанёнок – воришка карманный –
утащил ваши денежки, сам и покушал?

Это вы пожалели мальчишку-воришку:
– Дескать, нет у них в доме и мерзлой картошки?
Это вы продувную носили чаплыжку,
и в морозы – с простыми носками галошки?

А когда ваша мать с керосиновой банкой
заходила в ряды, её пряча в кошёлку,
то от вечнозелёной шинели Промбанка
спекулянт врассыпную бежал с барахолки.

Это послевоенное чудное время.
Очень бедные жили друзья по соседству,
а теперь наша память и вовсе не бремя.
По загробному царству скитается детство.

И о чём горевать мне, и чем мне гордиться?
Только тем, что с достатка мы не озверели.
Проплывает над нами по небу жар-птица
под прерывистый голос пастушьей свирели.

Молитва

Житие моё не безгрешно,
нерадиво житьё-бытьё.
Я скорблю о том безутешно,
призывая имя Твоё.

Умоляю Тебя изъяти
от бесов и от враг моих,
утомлённую мя в проклятьях.
Ускори на помощь от них.

Это страшное попрошайство,
это тоже великий грех –
над душой моей под начальством –
во все зубы глумливый смех.

Укrotи меня, как зверюгу,
на ристалище побегу.
На какую свою заслугу
Пред Тобой уповать могу?

На какую Твою защиту
мне надеяться, Боже мой?
Чёрный плат, белой нитью шитый,
добела, добела отмой!

* * *

Пора уже писать без дураков.
Что, раньше я писала с дураками?
Давно пора спуститься с облаков.
Разумно ль вообще вещать стихами?

Ведь сам Поприцин прозою напал
на свой недуг, но дважды сумасшедший,
кто на стезю поэзии попал,
за истиной собравшись и пошедши.



Но Спас мой в музыке, картинах и стихах,
а здравомыслие с расчётом и корыстью
для вечной жизни только тлен и прах –
украшь божничку колонковой кистью.

* * *

А время как свистит, луну уж обкусали,
она там сверху мстит приливом горных стуж.
Дым из трубы торчком, и лают псы басами,
но как прекрасна глушь, но как прекрасна глушь.

И голые стволы, и скользкие тропинки,
и ели в измороси, точно в кружевах,
с утра бегут дрозды закусывать рябинкой,
и горлинки отеческой глубинки,
и много прочих птиц летит на всех порах.
Я прокормлю их всех (им очень мало надо),
ночующих в печной золе синиц...
Какая бесконечная отрада –
негордому в слезах упасть пред миром ниц.

Греческая урна

Сосуд совершенный на горы стекляшек
среди ста витрин черепков и обломков,
останков оружия, ломаных бляшек.
Как мало живого! Погибшего сколько!

Но вот средь музейной развалины дикой,
которая кажется символом ада,
шагает Орфей впереди Эвридики –
я знаю конец, но пока за них рада.

Поскольку сам Глюк прикоснулся к цевнице,
а сам Альбинони на цитре играет,
мне кажется, выбредут, может быть, снится,
что ад этот подлый закончится раем.

Ведь он уже крикнул: «Сыны Аполлона
тебя не боятся, призывная бездна,
и я Эвридику возьму из полона».
Визжали вакханки: «Борьба бесполезна!»



Музей этот – щель Трафонийской пещеры.
Кто хочет приблизиться из неумерших?
Не я. Рот глумливый клыками ощерен –
из всех посвящённых я нуль наименьший.

Сейчас побегу от музейных соблазнов –
Орфей – царь любви, но упала корона.
Ревнивцев немало, и несообразно
звать бога завистников, ждать Аполлона.

Не служит Орфею владелец кифары.
Он любит себя, в чём не ведаёт меры,
промыслил: я – Бог, я – один, кто мне пара,
с уходом Орфея умрёт его вера.

Ан, нет, лишь любовь, только пост и молитва.
Уловлен неверием – гибнешь в капкане.
Но вся вакханалия, вся их ловитва
безвредней двух нот Оффенбаха в канкане.

* * *

Когда кочевник оседает
седой в седилах ковыля,
когда его тоска снедает
за снежным вихрем февраля,

один, как перст, в степи кочевой,
где звенья слов прочней, чем цепь,
во все концы пред ним плачевно
простёрлась на столетья степь.

Все беспризорные владенья
не обозначены на ней,
и выше облака виденье –
табун осёдланных коней.

Но всадников во всеоружье
пустые сёдла не несут
и горизонта полукружье –
его судьба и Страшный суд.



* * *

На ниве снисходительных прогнозов
я кровью ничего не подпишу
и протащусь сквозь свет с чужим обозом,
соблазн угла для скорости скошу.

А может быть, и от горячки белой,
белее снега, камня, облаков,
я с ног до головы покроюсь мелом
каспийскодонных древних рудников.

Да, не уплыть ли мне солёным морем
к пустыням юга, жёлтым, как лимон?
Устроиться на год в пернатом хоре,
десятым голосом вписаться в перезвон.

Я никогда не ведала пристрастий –
жить в одиночестве на тихом берегу.
Последней за людьми дорогой странствий
я верною собакой побегу.

В возрасте Шарлотты

«Боже милостивый, госпожа советница: помогать героине Вертера при выходе из экипажа Гёте – это событие. Как мне назвать его? Событие, достойное увековечения».

Томас Манн. Лотта в Веймаре

В возрасте Шарлотты Кестнер
вдруг меня прорвало песней.
Захотелось встретить вновь
всех, обиженных отказом.
Я собрать решила разом
за меня проливших кровь.

Кровь лилась ручьём условно,
чувства мучили бессловно.
Я с заплаканным лицом
ровно через полстолетья
обух перешибла плетью,
но не стала образцом.



В маске Вертера – не Гёте –
ухажёр чужой Шарлотты, –
пулей укротивший страсть.
Кто сбежал благополучно
от любви? Но ей сподручно
было не совсем пропасть.

Мы запишем для начала,
что полсотни лет молчала
та виновница беды.
Вот не русское кипенье,
а немецкое терпенье,
где затеряны следы.

Дождалась, что благоверный
успокоился и, верно,
уж не станет ревновать.
Во все тяжкие старушка,
романтичная пастушка,
едет страсти в ключья рвать.

Гёте жил благополучно,
но бежали неотлучно
смерть и слава по пятам.
Хоть никто не застрелился,
люди безграмотный молился,
текст читая по складам.

А иные грамотеи
для шикарности затеи
в Веймар мчались ради встреч.
Век пройдёт или два века:
невозможно человека
от соблазна остеречь.

Но соблазн обставить можно
ярким вымыслом и ложью...
Гаснут свечи, кончен бал.
Съехал клоун восвояси.
Вертер в женской ипостаси
с русской страстью погибал.



Кто остался, постарели.
Вышли тексты из купели.
Та история живёт.
Приукрашена прекрасно,
даже критики согласны –
лучше книги перевод.

Но один творец творенья
изобрёл стихотворенье:
быт – прореха из прорех,
он живёт беднее птицы,
хочет старец расплатиться
за неотмолённый грех.

Под горой суровой, лысой,
уходящей в море мысом,
не поднимет глаз горе.
С юности повторной Фауст
знал смертельную усталость –
третьей не бывать заре.

* * *

Как молился Достоевский
на Семёновском плацу?
Прежде – Духу, после – Сыну
и последнему – Отцу.

Троица всегда едина
и при перемене мест –
не к лицу простолюдину
рвать с груди нательный крест.

Он вам предоставил случай
пожурить и поругать,
что казнимому в падучей
неприлично пребывать.

Как же нам не убиваться,
вервью крученным к столбам?
Чтоб позорней надругаться,
вешают под барабан.

Страха мёртвые не имут,
их не тронет суд и срам.
Палачу живое имя –
только морок, лишний хлам.

Имя не бери в дорогу,
не надейся на помогу,
но молись усердно Богу,
если ходишь в кандалах
гирча, пустотел, галлах³.

В тёмной каторжной дыре
ты – прохожий мимохожий,
ты – сорняк на пустыре,
нищий духом в руце Божьей.

Фисгармония

Я удивлялась, как не понимают
все ближние, что музыка играет
безвыходно в саднящей голове,
и школьная цифирь, чистописанье
ужаснее паденья без сознания
на горе матери – соломенной вдове,
на арифмометре игравшей виртуозно,
хватавшей счётную работу на всю ночь,
чтоб нас кормить и дом согреть промёрзлый,
но выходом никто не мог помочь.

В ту пору, думаю, меня любили –
я мало всем успела насолить,
но, что ж, они мне дудку не купили,
коль пианино не могли купить?

Я б в эту дудочку вложила мысль и душу,
уже разорванную пополам,
я не однажды, в поисках отдушин,
шаталась гостьей по чужим домам.

Какими судьбами я забрела в барак?
Заволгли стены, застоялся мрак,

³ Другие названия пустырника.



подслеповатых окон было мало,
чтоб осветить сокровище тех стен,
или чудовище, которое стояло,
как бутафория, единственно затем,
чтоб я нашла его и возлюбила,
чтоб я ему сама собой нашлась,
нажала клавишу, на волю отпустила
утробно дивный басовитый глас.

Я в этот дом повадилась ходить,
чтоб оживлять скрипучие педали,
продувы, клавиши, и открывались дали
органной музыки, которую родить
сама бы я могла от инструмента,
не зная нот и правила игры,
до филармонии, с того момента
узнала я звучащие миры.

Сукно истёртое краснело на педалях,
над нотной полкой – имя и медали,
и желтозубость клавишных рядов...
Босая... страшно подойти в сандалиях...
От сочинений – никаких следов.

Но я уже тогда изобретала
на память заскорузлые крючки.
В который раз судьба меня пытала
и прочь гнала от музыки в тычки.

Час пробил, фисгармонию продали
в музей, наверное, а, может, не в музей.
Когда прощались, обе мы рыдали,
как жаль мне, что в действительности сей
нет записи в линейном пятистрочье.
Я первобытность крючьев, многоточий,
которые себе изобрела,
как регент древнерусский на амвоне,
почуявший бессмертие гармоний,
как сочинитель-эгоист в загоне,
зарыла, под подушку убрала.



* * *

Сама себя за Гоголя ревную,
Когда толику перечту дневную
прескрудных новостей, газетный хлам,
с похабщиной всевластной пополам.

Но к Пушкину – какое святотатство –
так ревновать, ведь я готова в рабство
к нему зачислиться, зубрю его словарь,
взрывоопасный для обычной жизни,
приравненный к вселенной и отчизне!
Молчи, грядущее, вперёд не тарабарь.

Сама себя за Гоголя ревную
и к Пушкину, за то, что одесную
от Бога он, как нам сказал артист,
пророк, певец и чтец, а он речист,
и Гоголя, стоящим ошуюю,
увидел раньше всех и вслух сказал,
и веровать в их слово наказал.

Я, эту троицу глазами пожирая,
стою, как громом поражённая, немая.

Москва, как много...

Москва вавилонистей, чем Вавилон
времен Македонского – сотни языков,
и пусть Вавилон – иудеям полон,
и грекам, и персам, какая музыка,
какая энергия в пленных речах,
святые проклятья, слепые восторги,
пудами искусство несёт на плечах
народ – обыватели улиц и торго.

Менялы, паромщики, сбитчики глин,
дубильщик пергамента, рвущий папирус,
закройщик земельных широт и долин
вещать о небесном взобрался на клирос.

Никто тут не мирится даже с собой,
во всём изобилие личных приязней,



когда они хлеб убирают гурьбой,
когда всей толпою глазают на казни.

Медведь-медведём – по Евфрату трава,
высоки осоки по берегу Тигра,
от столпотворенья трещит голова,
по камню несут из вулканного тигля.

Ты узнан, ты пойман, искусственный клон!
Москва вавилонистей, чем Вавилон.

Так что ж москвичей разбежаться не тянет
по сёлам, болотам российских широт?
Вернуться на родину? Где им, лентяям?
Там путь выживанья – хлопот полон рот.

Зачем же рассеялась я в это пекло,
оглобли свернулись с привычной тропы.
Беспаспортный раб, из провинции беглый,
спасаюсь в горниле пристрастной толпы.

Другая дисциплина

Темперирован клавир.
Квиты квоты, прячу ноты.
Кончен временный мой мир –
Вечные грядут заботы.

К чёрту – струны и смычки!
Прочь, масоны-дилетанты,
чужеземные сектанты,
полицейские крючки.

Нет просвета в небесах –
грозовые кучны тучи,
вся душа моя в слезах
перед правдой неминучей –
нет просвета в небесах.

Звуков пламенных не слышно,
был мой путь спесив и горд,



в исполнители не вышла –
загнан вспять слепой аккорд.

Здравствуй, кухня, огород,
вечный хаос и разброд.

* * *

*Скрой, что говорили семь громов
и не пиши сего.*

Иоанн Богослов

В окольный путь я вышла в час рассвета
без цели, без причины – просто так,
куда-нибудь, где, слава Богу, лето,
и дождь прошёл, и чуть смягчился мрак.

Рассвет ещё не выкатил короны
над очертанием восточных гор,
с чернеющими белые вороны
ещё не затевали склочный хор.

Я в эту пору личной кругосветки
брела себе, как тать или король,
сквозь хрустали воды на чёрных ветках,
наказ блюла и повторяла роль.

Ведь ночью я семи громам молилась
до тайны, чтобы мне её срывать,
но бездна беспардонная ввалилась,
велит Шекспира в пустоте ломать.

Я слышала другое наставленье.
Я взвидела неугасимый свет,
когда ещё стояла на коленях
с доносом на свои сто тысяч бед.

Не проболтаюсь, беспощадно скрою...
Особый опыт мой не подойдёт
ни дезертиру, паче, ни герою,
ни поколенью, что уже грядёт.



* * *

Храни меня, мой Талисман!

А. Пушкин

Храни меня, мой Томас Манн!

С. Золотарёв

Мой подстрочник Томас Манн.
Не скажу, с какой страницы.
Я завязтый клептоман – вся в алмазах.
Вам не снится мрак пещер, где их не счесть.
Вот двусмысленная честь.

Как же мне прожить – артистке?
Зритель спит, читатель слеп...
Вот как слово пало низко –
подвиг мой почти нелеп.
Но «В начале было Слово».
И с тех пор ничто не ново.

* * *

Над пропастью, на самой крайней кромке
я безотчётно музыке внимаю
и расчленяю звук её негромкий
на тысячи частиц и понимаю,
что в недрах герметического шара
не жизнь живу, а сон и наважденье.
Бежала я от музыки недаром,
от всех её учебных заведений,
откуда беспристрастно доносились
напутствие и предостереженье.
Ревниво звуки на руки просились
и отступали в вечность с пораженьем.

Святое место пусто не бывает.
Другая дисциплина – Форте! Форте! –
в которой жар и холод пребывают,
как равный с равным в доме без комфорта...

Не тёпл, и ладно! Значит, не отринут
мой бедный выбор слов, мой бессловесный
разброд в безлюдье – ближние не примут.
Жизнь разменяла на итог безвестный.



* * *

Нет слова в словаре родной земли,
чтоб не ложилось в ямб, не рифмовалось,
не бегало с фонариком вдали
и в одиночестве не оставалось.

Слова со мной хотели задружить –
над люлькой пели смертники пред плахой,
чтоб Страшный суд по-своему вершить,
когда созрею каяться и плакать.

Мой бессловесный светоч, то-бишь, друг
одной струной мог заглушить прозреньё.
Не умолкал в ушах привычный звук,
пока у слов не лопнуло терпеньё.

Какой лавиной бросились за мной
слова-обвалы с иноземной сворой.
Я слышала погоню за спиной,
под тяжестью их пала очень скоро.

Теперь я каждой сиротине – мать.
На торжищах, в тюрьме гуманитарю.
За Христа ради славы не сорвать,
но я себя прощаю и мытарю.

Я славе полный отдаю отлуп:
не докучай мне золото-медно-звонко –
сложеньё слов обходится без труб –
мой Крым и Рим от большака в сторонке.

* * *

Когда шмели родной земли
трухлявый пенёк облюбовали,
и черви в ливень поползли
писать червивые скрижали,
о смерти смолкли голоса,
тревоги прежние облегчив,
и позабылись адреса
ста сорока небесных певчих.
Шёл праведник, за ним – изгой



в сей жизни час необратимый.
Пусть гром гремел, но был покой,
уже ничем невозмутимый.

* * *

Благодарна щенку, что не знает,
как душа в пустоте прозябает,
хамельоном меняя окрас;
благодарна ручному котёнку,
что не ходит за хлебом с котомкой,
а из рук принимает у нас.

Благодарна птенцу и младенцу,
вольным пляжникам на полотенцах –
подставляют под солнце бока,
или смело за буй заплывают,
что там ищут, и сами не знают,
хоть с ума не свихнулись пока.

Так, наверное, Бог благодарен,
что народ в постиженье бездарен,
а к всезнайкам любви нет, как нет.
Бог нуждается бедный в защите,
лучшей доли себе не ищите,
не ловите в миру больших бед.

Говорят нам, что пост и смиренье
утоляют запал и горенье,
только выя не гнётся под них.
До седин пребываем в гордыне,
знаем все закоулки латыни.
Боже мой, не оставь нас одних!

* * *

Сдержанность и серьёзность чужды нашим местам.
За эйфорией с депрессией бегаю по пятам.

Нет золотой середины – воздух разрежен и чист,
туча идёт за тучей, падает снег лучист.

И при тепле лучины, даже не при свечах
я ворожу и каюсь в белых от снега ночах.



Здесь я молюсь не свету, а заревому лучу,
явленный внове язычник, плачу и хохочу.

Не узнаёт собака вздорной моей стези,
нет золотой середины. Бог меня разрази!

Выйду – отскочит прохожий, спрячется в дом сосед –
все под замками, по норам – встречных отныне нет.

Буйные ощущенья, будто пришла весна,
только мороз лютует, без передышки, без сна.

То ли я замерзаю, то ли огнём горю
в белой долине света, в непроходимом раю.

Крайностей полный выбор, здравости не найдёшь,
промеж японцев и греков жду – пропаду не за грош.

Жду, возрожусь, как феникс меж полюсами земли.
Вызрела непримиримость горлицы и змеи.

* * *

В нашей мирной долине случаются бури.
Полоснёт серебро по небесной лазури,
цвета золота солнце задует, затмит.
Хаос белого мрака – пружин напряженье.
Распростёрлось на центр боковое движенье –
снег по суткам фантазией землю томит.

Многотонный и буйный прибой, точно море,
порошистого снега тут не переборет.
Этот пух – две стихии кристаллов воды.
Он мне душу смутил, поколеблена вера,
многократно стихией превышена мера –
ждёшь просвета, разлуки, свиданья, беды.

Иступлённая сфера разгульной чужбины,
шаг ступи – и бездомен, как ель и рябина.
Кто неведомый нам из-под неба звонит?
Горный зяблик, он в белой лавине, как дома.
Он один мне в стихии родной и знакомый,
есть надежда, что зяблик нас всех сохранит.



ЛАМИЯ

Повесть

(Из Джона Китса)

Часть первая

Однажды фей волшебных стайка
Великодушно допустила
Сатира с Нимфой без утайки
Из леса выйти и смутила
Дриад и Фавнов первоцветных,
Глухих, нехоженных полянок,
Омытых ливнями и светом
Лесных жильцов и поселянок.

Сатир и Нимфа перед тронном
Эльфического Оберона.
Украшен был король, но карлик
Огромным драгоценным камнем.
Триждывеликий Трисмегист
Назвал единым верх и низ,
Взяв псевдоним себе Гермес,
Унёс в непроходимый лес
Огонь богов, огонь Олимпа...
Пред Обероном пляшет Нимфа,
И мохноногого-козлоногий
Сатир показывает роги.
Гермес в опаснейшей дороге.

Воспользовавшись общей смутой,
Враг чести Эрмия попутал,
И он с Юпитеровых круч
Сбежал, схватив огонь Олимпа,
На нашу сторону от туч.

Все три миллениума Тот
Учил, как жить в песках Египта,
Дабы впустую не пропасть...
Наследник – грек уже крадёт
И пишет хитрые рескрипты,
А римлянин-Меркурий ждёт
Три века очереди красть.



Давайте глянем на Гермеса,
Пока не убежал из леса.

Всех судий за нос вокруг носа
Водить – вот ремесло его –
Нет в мире дерзости износа!
Юпитеру-то каково?!

Был страшен в ярости и грозен
Суровый, главный из богов.
Он взглядом жёг или морозил
По произволу своему.
Боясь с Верховным встречи взглядом,
Гермес не пролетал и рядом,
А просто сунул свет в суму,
И был таков!

Каков маршрут крылатых пяток
И крыльев вместо двух лопаток?
Известно всем – на берег Крита –
Там Нимфа обитала скрыто.
Парнокопытные сатиры –
Скоты-флейтисты и задиры,
Упав на локти и колени,
Изнемогли от вожделений.

Дочь Афродиты из Коринфа,
Неподражаемая Нимфа
Обыкновение имела
Своё божественное тело
Ежевечерне оmyвать.
Холоднокровные тритоны,
Готовы жизнью рисковать,
Покинули свои затоны.
И где она была, иль будет,
Где новый день её пробудит,
Где пробежит клочок земли
Своими длинными ногами,
Они шкатулки с жемчугами
В раскрытом виде нанесли.
Таких и музы не имели.
Гермес поверил: «В самом деле,
Не зря я крал небесный свет!



Свидетелей, удачно, нет!
А кто подобного достоин?
За свой поступок я спокоен».

И в свете света оперенье
Зарделось в первое мгновенье
С крылатых пяток до ушей,
Ушей, петлисто бесподобных,
Покрытых золотом кудрей,
Рассыпавшихся за плечами.
Он землю изучал подробно,
Без роздыха – не спал ночами.
Любви вдыхая канитель,
Искал он тайную постель.
Кругами он от леса к полю,
От речки к речке, вдоль долин...
Уверен, только он один
Любить, владеть и видеть волен.

Кто б ослеплённый мог без слёз
Взглянуть на россыпь алых роз
Над златокудрою макушкой.
На свет ни мотылёк, ни мушка
Не думали и посмотреть,
Не то, что ближе подлететь.

Он будущему верил счастьем,
Летал, искал и изнемог,
Измучен ревностью и страстью,
Присел на холм, не чуя ног.
В лесной глуши уединённый
Сидел задумчивый влюблённый,
Подозревал лесных богов,
И даже хвойные деревья,
Пучину рек без берегов,
Замшелый камень в почве древней...
Когда подумал, что она
Вообще не будет найдена,
Услышал тонкий, точно волос,
Печально-одинокий голос:
«Когда я из могилы выйду,



Когда вернусь в прекрасном теле,
Несправедливость и обиду
Забуду я на самом деле,
Несчастливая, я стану вновь
Радеть за счастье и любовь».

Бог, оперённый, взад пятками
По зарослям заколесил,
Пыльцу руками и ногами
С растений яростно трусил.
Измял траву, сломал кустарник,
Но встретил – не мечту свою,
А узел радуг очень странный –
Невиданной красы змею.

Тот узел гордиев искристый,
Зелёный, синий, неземной,
Как зебра полосат, пятнистый,
Как леопард в глуши лесной,
В глазках павлиньего наряда
Меж серебристых полулун,
Раздвоенный и полный яда
Язык малиновый мелькнул...
Нет, это фея, нет – наяда
Вину отбыть осуждена,
И мукой мучиться должна.

Быть может, демонов царица,
Да и сама, возможно, – бес.
Над гребешком огонь искрится,
Звездами сбрызнутый с небес.
Над ней тиара Ариадны,
Нет лучшей, нет такой иной...
Ах, горько-сладки и отрадны
Рот чудной женщины земной,
И в мученической гримасе
Рот, полный жемчуга, прекрасен.

Но всё же голова змеи!
Сицилианской Прозерпиной
Чужой, отторгнутой земли –



Всё отражал прекрасный взгляд.
Кого сразит любви лавина,
Тот не найдёт пути назад.
Тем более, Гермес услышал
В своём стремленьи волю свыше.

Змеиным горлом пелась песня
Любви и страсти, и тоски.
Слов нет обычной и известней,
Но небеса ему узки.
Сражён летающий Гермес.
Таков у сокола обычай –
Сложив крыла, упасть с небес,
Схватить до времени добычу.

Пока ещё добыча пела:
«Гермес, одетый в перья-перлы.
Осталось времени в обрез.
Ты торбу солнца мне подарить,
Иль в темноте оставишь лес
И навсегда меня оставишь?»

Я видела прошедшей ночью
Во сне, но будто бы воочью
Тебя на троне золотом.
Перед божественным судом,
Перебирая струны лютни,
Сам Аполлон Великий пел.
Олимп божественно-безлюдный
Ни звука обронить не смел.
Но ты не слышал, ты не слушал,
Нечеловечески страдал,
И жалобу свою и душу
Ты деве трепетной отдал.
В пушистом красном оперенье
Ты восседал, мой грустный гений,
Среди бесчувственных богов –
Душой у Критских берегов.
Теперь ты здесь. Нашлась ли дева
Твоей мечты в моём лице?
Солярный шар венчает древо,
Но корни глубже. На конце –



Змеиный узел. Не напрасно
Ты кадуцеем награждён,
И я совсем небезопасна –
Ты символами побеждён...
А в чувствах, в чувствах убеждён?»

Он ей ответил: «К вдохновенью
Ещё не найдено ключей.
Я обольщён по мановенью
Меланхолических очей.
Но я искал другие очи
Мечтал о них все дни и ночи.
И наша противоположность,
Без объяснений верх и низ,
Земли и неба непреложность
И чувств великий магнетизм».

«Клянись в любви!», – змея просила.
«Клянусь, что никакая сила
Меня с тобой не разлучит,
Против тебя не ополчит».

(Но, впрочем, что сказал Гермес,
Не скреплено. Попутал бес,
А он сказал. Но обещанье
Забрать успеет в день прощанья).

Они беседою престранной
Благословили крепость уз,
Со стороны казался странным
Такой немислимый союз.

Легко, пыльцою спелых злаков
Слова слетали верным знаком
Доверья в первородной силе,
О чём слова змеи гласили:

«Экстаз из паутины соткан,
И Нимфа-дева не видна.
Жила она легко и кротко,
Бродила здесь совсем одна.



Её невидимые ступни
Ступали по сырой земле...
Чтобы сатиров взор преступный
Не докучал, пришлось змее
Спасать покой её покоя –
Хотели фавны-рогачи,
Силен, кентавры – люди-кони
Её добиться – ловкачи.

Но я её красу закрыла,
Я сострадаю красоте –
Я шлейф невидимый носила.

Во всей красе и нагоде
Предстанет только пред тобою –
Ты станешь, Бог, её судьбою,
Но только при одном условии –
Теперь заранее клянись
Исполнить всё без прекословий,
А там на берег обернись.

Я тоже женщина, клянись
Отдать мне первое соитъе,
Передо мною преклонись,
Как пред любовью по наитью.

Я знаю свежим чувствам цену
Познай и ты любовь-измену.
Измен не будет за тобой,
Пока её ты не увидишь,
А позмеившийся с другой
До первой страсти свет не взвидишь.
Измена – просто панацея...»
Она змеилась, извивалась
И обольстительной Цирцеей
К ногам Гермеса прижималась.

(Он мысленно молил змею:
Не превращай меня в свинью).

– Верни мне молодость Коринфа,
Все свойства женские верни!



Люблю тебя сильней, чем Нимфа
Тебя полюбит. Отгони
Сомнение, муку, робость, скуку,
Невинность, верность той, другой
Единственной любви доуку...
Упейся радугой-дугой.

Склонись ко мне. Твоих волос
Божественные ароматы
Волшебней роз, целебней рос...
Я женщиной была когда-то...
Невидимых ушей коснись
Неслыханной любовной клятвой,
От спячки для меня проснись,
Для радости бесщётно-кратной.

Румянец плавился на ней.
И, распаяясь всё сильней,
Змея в глаза его дохнула
И будто полог отогнула,
Где спрятана была Она –
Тростинка, девочка, казалось,
Из туч ущербная луна
В зените неба показалась.

О сладкий сон. То не был сон,
Поскольку сон богов – реальность.
Не случаем был занесён,
От мук безлюбия спасён
Пустившийся в такую дальность.

Он меж луною и змеёю
Змеиный кадуцей вознёс –
Не клятву он, а заклинанье,
Как завещанье в час прощанья,
Над страстной тварью произнёс.

Она пружиной извивалась
И горьким ядом заливалась.
Он видел только свет луны
И робкие цветы весны.
Не пели птицы, пчёлы пели.



Точился с губ прозрачный мёд,
Их ждут укромные купели,
В леса таинственный полёт.

А что змея? Что ей за дело
Со свойствами траву травить?
Её бесчувственное тело
Последней мукой, может быть,
Бесчувственно сгорало насмерть.
Остекленевшие глаза
Прожгла кипящая слеза,
Горят зрачки, ресницы, веки –
Багровой мукою навеки
Теперь владеть обречена,
Не упокоилась она.

Глубокий жёлтый цвет вулкана
На нежно-лунном, грациозном
Разлился с силой океана
Спокойно, равнодушно, грозно.

Покрыв чешуйки золотые,
Посеребрённые сплетенья
И полумесяцы крутые,
И звёзды погрузил в затменье.

Змея лишилась аметистов,
Аквамаринов, халцедонов...
Верёвкой, голой и нечистой,
Плыла со стоном по затонам.

Осталось жалкое уродство,
Но в ослепительной короне
Ещё сияло первородство
И превосходство в обороне.

Но коронованной змее
Смешно соперничать с громами –
Никто не может на земле
Стихию обуздать словами.
А горы в небе в шапках снежных,

А пепел серый и безбрежный,
И критский лес не услышали
Влюблённый глас: «О, страстный, нежный ...»
Все признаки змеи пропали.

* * *

Пропасть и сгнать леди не могла –
Изысканно-змеиной ипостаси
Смерть не дана. Скитаться без угла –
Не привыкать, а путь её прекрасен.

Она, как птица, критских берегов
Достигла необдуманном зигзагом,
Стихийно через пряности лугов,
через туманы неба беглым шагом,

Сбежав под кипарисовые кроны,
Покинув пирамиды кедров горных
Она, как, ручеёк минует склоны
Под пенью птиц, и богу непокорных.

Вот под ногами мшистая тропинка
Ведёт в прозрачайшее озерцо.
Спасённая в напастях пилигримка
В воде увидела своё лицо.

Её своё пленило отраженье,
За все несчастья, в страсти пораженье
Она реванш решительный берёт –
Женой неотразимой отразилась,
Себе вернее верных наперёд
Нарциссов расцветавших появилась.
Душа змеи отнюдь не испарилась,
Но взгляд являл любовь, покорность, милость.

Сам Люциус в тот миг её увидел –
Наездник колесниц, поборник схваток
Предстал пред нею в выигрышном виде.
Змея была ещё не виновата.

Любимый сын болельщиков Олимпа,
Носитель лат и лаврового нимба,



Бессменный победитель на бегах
Любил себя и не смотрел на женщин,
Он ведал толк в языческих богах,
Был победитель – вышел пораженщик.

Она невинно хитростью сразила
Зелёной юбкой многих менестрелей,
И никаких залогов не просила.
Герой стрелой земной любви прострелен.

Невинной девы искущённый ум
Тогда не мог придти ему на ум.

Он представлял блаженство – не страданье,
Его бы не сдержали назиданья,
А что и как меняется местами,
Понятья не имел, когда перстами
Двусмысленно коснулся женских плеч.
Она училась в школе Купидона,
И лавровый венок – его корона
Свалилась, чтоб к её ногам прилечь.
А ноги ей самой-то были внове –
Ей прежний вид попортил много крови.

Не догадался он, какой игре,
Отбросив вздорные ограниченья,
Он посвятился рано на заре,
Отдав змее мужское предпочтенье.

О, почему божественно субъект
Окраиною тащится дорогой?
В её мышленье кроется ответ,
Повременим судить его с порога.

* * *

В змеином логове змея
Великолепно или странно,
Элизиум обременя
Своею сутью окаянной,
Была мечтательна. В волнах
Где с волосами Нереиды



В жемчужный дом самой Фетиды
Она плывёт на всех порах.
Где Бахус осушает чаши
Под соком плачущей сосной.
И у Плутона в тёмной чаше,
В садах Аркадии родной,
У Мальсибера и Вулкана,
На дне реки и океана.

В её змеиной головёнке
Вместился город праздно-звонкий,
И тьма мистических мистерий,
Где ужас, смертные потери –
Всё, всё владения ея, –
Так мыслит юная змея.
Всеядная простёрлась юность
На тысячи бессрочных лет,
На всю бескрайнюю подлунность,
На весь соляренный белый свет.

Люциус – юный коринфянин
На колеснице золотой,
В завидном праздном одеянье
Был безмятежен, как святой.
С лицом Юпитера бесстрастным
Он стал являться на пути,
Который знала распрекрасно
Та Ламия. Прощай, прости,
Его невинность, непорочность.
Его галеру ветер нёс.
Уткнулся перед самой ночью
В причальный камень медный нос,
Был якорь брошен в дно лимана,
А он сосуд для фимиама,
Быка окровавленный бок,
Треножник на себе волок.
И после пышных воскурений
И верноподданичьих рвений
Он знака ждал, собой доволен.
Дождался ли? Юпитер волен
Беззвучно выслушать его,



И угождать его желаньям,
Но Люций Бога своего
Наверно, ублажил камланием.
А вечер распался ранний.
Порой меж волком и собакой,
Верней – ночного мотылька,
Его могучая рука,
Управив парус и ветрило,
Ладью к причалу прикрепила.
Он шёл по травным берегам
Один без мысли или дела,
Отдавший богово богам.
Здесь его дева углядела.
Бездействует, но полагает,
Что он мистерией укрыт,
В пунцовой мантии зарыт,
И временно не достигаем.

И втуне пропадает шея
Белейшая, и острый взор,
Но страстно повторяет фея
Готовый к бою разговор,
И медлит... Вредно медлить долго,
Когда ты ждёшь отдачи долга.

Он в эру новую вступил
И к старости летел и плыл
Быстрее ладьи, быстрее птицы...
Страдает вечная юница.

Путь перед ней – свобода, вечность.
Он в силе будет краткий срок.
Есть в мире бытия конечность –
Бессмертному какой в ней прок?

Но Ламия своё возьмёт –
Мгновенье – вечности дорожке,
Любовной страсти яд и мёд
Сошлись. Мороз дерёт по коже.

Шагает дева по пятам.
Мгновенье ловит в тёмной чаще...



– Пора. Я честь ему воздам,
Скажу: «Душа моя на части
В разлуке вся изорвалась...»
(Душа и я – какая связь?)
Скажу: «Орфей, я Эвридика,
Я здесь во тьме изнемогла,
О, не беги! О, погоди-ка!
Меня погубит ночи мгла...»

Но только стон из уст исходит,
И Люций Ламию находит.
– О, где ты, дева? Что ты просишь?
– Мой первый! Люциус, не бросишь
Меня в таинственном лесу,
Как взглянешь на мою красу?

Стоял, как громом, поражённый,
Любви не ведавший юнец,
Его блистательные жёны
Не соблазняли. Наконец,
Впервые он обескуражен,
Но как герой он смел, отважен
И благороден. Говорит:
– Красавица, один твой вид
Меня низверг в пучину боли.
Какие хочешь, клятвы дам...
Любовь! Мой выбор доброволен,
Равновелик моим годам.
– Ты обо мне ещё не слышал?
– Не надо слышать, вижу сам
По ослепительным глазам,
Что сон случайный в руку вышел.
Я так Юпитера молил!
Он про тебя не говорил
Но если даже ты наяда,
Всегда с тобою буду рядом.
Не исчезай из нашей тайны –
Я брошу мир к твоим ногам.
– Мне ноги колет дикий тальник.
Как мне скитаться по лугам?
Как мне утратить чистый воздух
И даже дикие цветы?



Мне в пыльном городе на роздых
Не хватает света, чистоты.
Останемся на том же месте,
Где встретились в лесу с тобой,
Пусть глас божественных известий
Соединит одной судьбой.

Юнец, испуганный до смерти,
Сознания чуть не потерял
В её волшебной круговерти
Отказа, слёз, любви, похвал.

Сильней всего его тревожил
Отсутствующий голос божий.

Он в чувственных противоречьях
Поник прекраснейшим челом,
Ему неясны девы речи –
А дева рвётся напролом.

В Коринфе, где она бывала,
Кадя Адонису травой,
И Люциуса наблюдала,
Других любила непервой.

Но там её он не заметил.
Бывают чудеса на свете:
Он был сражён, он был влюблён
И первой встречной покорён.

Но было бы несправедливо
Её в расчёте уличать,
Она уже его любила,
Но прошлое должна скрывать.

Да, прошлого премного было:
Она богов перелюбила,
Наездников и рыбаков,
И юношей, и стариков.

В конце концов дала согласие,
Упомянула о богах,

И он её в Коринф на счастье
Унёс на собственных руках.

Прошёл он с нею девять миль,
Но ни о чём не догадался,
И так был ослеплённый мил,
Что на мгновение показался
Единственным. Почти любя,
Она его облобызала,
Но даже слова не сказала,
Ничем не выдала себя.
И пребывая в напряженье,
Изображая дочь богов,
Не выпуская из оков,
Одним ударом поражение
Безжалостная нанесла –
Убила словом и спасла.

Не говорила, только пела,
С мирскою ложью преуспела
И к новой бездне повлекла.
Ещё не то она могла...

Пусть сумасшедшие поэты
Поют о феях многи леты,
О чистых девушках пещер,
Лесов, озёр и водопадов...
Простая человека дщерь –
Одна желанная награда.

Двойник предчувствий произнёс
(Нельзя сказать: пришёл в сознание):
«Простой ответ, простой вопрос
Красноречивей волхованья».

Простой вопрос, простой ответ –
Любовней, проще не бывает.
Так прояснился белый свет
И к брэнной жизни призывает.

Вот город, лязганье ворот,
Цветов садовых приворот.



Искрят бенгальские огни,
Толпища с торжища глазеет,
И в замешательстве они
Среди гуляк и ротозеев.

Коринф. По площадям имперским
Гуляет всякий разный люд –
От Бога к храмам богомерзким
Толпою пёстрою идут.
Богатый, бедный в час прохлады
Довольный собственным укладом,
Ишаркал камнем путь мощённый
Подошвами на ремешках,
Не в поле, в городе возвращённый,
В коротких туниках-мешках,
Свободен для любых деяний,
Под колоннадами кружа,
Обжорств, питья, любодеяний,
Убийств, поджогов, грабежа...

Вдруг наш герой прикрыл лицо –
Навстречу, попирая камень,
С башкою гладкой, как яйцо,
И бородою с завитками
Философ шёл, ему знакомый –
Адепт мистических законов.

Сказала Ламия: «Спеши!
Уйдём, чтоб ты лицо не прятал.
Кто этот старец, расскажи.
Мы перед ним не виноваты,
А ты прикинулся слепым.
Опасна ли нам встреча с ним?» –

«Учитель мой и проводник,
Философ храма Аполлона.
Сегодня, кажется, старик –
Апостол глупого закона.
Губительный мой благодетель
И прорицалища пастух,
Оракул, говорит, как друг,
Но за моих врагов радетель.

Плющом обвитый кипарис –
О высшем учит – тянет вниз».

Так независимо и праздно,
Толкуя о земных делах,
Они служили сути разной,
Раскованные в пух и прах.

Пришли к огромному строению.
Крыльцо, колонны в виде змей,
Всё фосфор освещал гореньем...
Жилище Люция пред ней.
Отполирован пол, карнизы.
И лампа света с потолка,
Как в зеркале, светила снизу,
Прикрученная на века.

Из недр змеиного сатрапства
Побег был тайною храним.
Сегодня счастье и богатство
Принадлежало только им.

Часть вторая

Любовь в лесу, в землянке в шалаше,
Пир сухарями или чёрствой коркой
Бывает. Только в Греции уже
Она не в моде, кто судьбою же
Вознаграждён, пускай себе живёт
До пепла-праха. Уважал народ
Дворцы, не зная, кто за плотной дверью
Затравленно живёт, подобно зверю.

Работорговцев неуёмный рой
За персов – свой товар – стоял горой,
И этот дом, устроенный по моде
Был крепостью-дворцом в новейшем роде,
Но полон соглядатаев немых –
Не спрятаться, не убежать от них.
Отшельникам нельзя уединиться –
За колоннадами – чужие лица,
За выступом раскосый, горбоносый



Сигнала ждёт с наполненным подносом.
Пируй и властвуй, бей и понукай,
Но это вам не первозданный рай.

Хозяин дома добр и всемогущ –
Не замечает он чужие лица.
Прибывшему из первозданных куц,
С такой опекой трудно примириться.

Услышь мораль природной простоты,
Наш Люций несказанно бы опешил
И взревновал, и нежные черты
Обрёк хуле. Уже их жребий взвешен,
Уже из нежной глотки слышен шип
И месть друг другу совершенной пары
Свирепствует... Как будто кто расшиб
Гармонию. Любовь исходит паром.

Ещё они на ложе возлежат
Меж мраморных столбов, увитых златом.
Аид – по-нашему – бездонный ад
Стоять явился в дом в железных латах.

Так Ламия осталась без холма,
Болота, речки, леса, трав и поля –
Богатство, страсть, обман свели с ума –
Она в оковах боли поневоле.

Он говорил: «Любимая моя,
Ты почему вздыхаешь и бледнеешь –
Мой дом, любовь, прислуга и земля –
Твои. Как я, ты это всё имеешь». –

«Как думаешь? Не понял, почему?
Где я теперь? Ведь ты меня оставил.
Вся эта жизнь ни сердцу, ни уму.
Бездомная уйду. Мой бред растаял».

Как в зеркале, себя в её глазах
Он разглядел, заговорил в слезах:
– Ты утренняя звёздочка моя,
В какие собираешься края?



Царица, фея, чем я провинился?
Я негою старался окружить,
Изыществом и роскошью служить
Одной тебе. Для этого явился.
Я так хочу поймать тебя в силки,
Я предрассудки мира превозмог,
Хочу скрепить величественным пиром
Единство наше. Пусть мои враги
Полопаются, только не беги.
Моей любви, окончим дело миром.

Я величавость брошу диким псам,
Открою городу и миру сам:
С колёс лучами солнца светят спицы.
Торжественно отправимся мы в храм...
Твоё сиротство не позор, не срам –
На свадебной покатым колеснице.
Пребудешь ты законною женой
С патрициями вровень и со мной.

Дрожащим голосом она в ответ
Сказала: «Не желаю, нет и нет.
Тебя унизит наш союз неравный».
От «униженья» он пришёл в восторг –
Какие клятвы верности исторг,
Вчера ещё свободный, своенравный.

Победа бедной маленькой змеи
Была дороже неба и земли.
Как будто кожей сброшенной горело
Всё прошлое, всё глупое, вся злость,
Ведь Ламии впервые довелось
Достичь в любви законного предела.

Он истинного имени не знал,
Он ласковыми прозвищами звал
Свою любовь (Зачем ей бранных имя?) –
Она богиня, фея, существо,
Нездешнее, как смертных большинство.
И горд он был открытками своими.

– Ты можешь выбрать свадебных гостей,
Тебе позволю тысячи затей,



На каждый час купи себе наряды.
Давай, к себе весь город позовём,
Мы будем всё равно с тобой вдвоём.
Публично буду звать тебя Няяда.

– Я – Ламия. Зови, как нарекли,
Кто ныне от поверхности земли
Отвергнуты, лежат в холодных урнах.
Там им не воскурят фимиам.
Возлюбленный, приличней будет нам
Не появляться в шествиях бравурных.

На пир ночной любого позови,
Но первый враг твоей-моей любви
Пусть не приходит. Не зови! Не надо!
– Кто это?
– Аполлониус – мудрец.
Он нам не брат, не сват и не отец,
И своемыслие его живёт без лада.

И трогательно под рукой его
Она свернулась утомлённо-спящей.
А наш герой не понял ничего,
Хотел он буйной свадьбы, настоящей.

И радостно пошёл сзывать гостей
Традиционно без своих затей
И в упоенье счастьем непробуден,
Он не забыл, кого не надо звать,
Но Аполлоний чести прозевать
Не пожелал: «Без зова в гости будем».

Оставшись дома, Ламия встаёт
И слуг – не персов – а своих зовёт,
Они сползаются в мгновение ока
И зал преображают гостевой
В зелёный садо-лес с живой травой,
Где змеевик вкраплён в отделку окон.

В прожилках мрамора извилистый узор
Змеиных молний ублажает взор,
И зеркала взыграли облаками.



Кадилаьницы амброзией полны,
Светильник наподобие луны
И роговые кубки под руками.

Как будто оборвали все сады –
Лежат Деметры сочные плоды,
В зените в виноградных лозах Бахус,
И виноградный в воздухе настой,
Орнамент всех сплетений непрстой –
Особый завивающийся ракурс.

Для всех венки. Невесте с женихом –
Из белых роз, сравнимых молоком.
Чертополох, фиалки, мирты были –
Здесь всё разнообразие травы...
«Язык гадюки» – прозвище листвы –
На плешь софиста дружно угнездили.

Непринуждённо продолжался пир.
Счастливый Люций думал: «Я – кумир!»
Держал её божественную руку.
Вдруг страшный холод жениха пронзил,
Едва-едва он не лишился сил,
Едва-едва он пересилил муку.

Но вдруг рука избранницы огнём
Пронзила до костей все жилы в нём,
И всех гостей, как парализовало,
Последней лютни лопнула струна,
И мёртвая упала тишина,
Никто не убежит из-под завала.

Философ хладнокровно видел всё,
Но грозный взгляд направил на неё,
Вот-вот, казалось, рухнет без сознанья...
Он где-то видел, должен что-то знать...
Уклад философа трактатами вещать
Сейчас обузой был в его познаньях.

Глазные яблоки стремились из орбит,
Он ничего ещё не говорит,
Хоть был авторитетно знаменит...



Ещё не вспомнил, но нависла стужа,
Мороз сковал хозяев и гостей,
В предчувствии ужасных новостей,
Распростирался сам античный ужас.

– Я, вспомнил, вспомнил, слушайте меня! –
Он крикнул так, что дрогнула земля, –
Невеста – Ламия – опасная змея.
Сам оборотень, кобольд, пресыщённый
Экстазом смерти с пеньем соловья,
И луноведенью астрально посвящённый.

Уйди сейчас с дороги мерзкий сон –
В лице твоём безжизненная бледность.
Ты разоблачена – какой резон –
Тебе здесь быть, когда обман и вредность
Бессильны посвящённых соблазнять,
Придётся поражение принять.

Глаза нам покажи. Запавший взгляд
Не значит ли что пять минут назад
Ты спрятала глаза в своей ладони,
Но хочешь нас уверить – взгляд бездонен.

Она не зрит телесными очами –
Несёт в руке, но видит за двоих,
Во мраке непроглядными ночами
Она в глазницы возвращает их.

Я потрясён. Животный магнетизм
Твоим деяньям верная порука –
Ты с неба Люция стащила вниз –
В твоих краях – болотина и скука.

Я вычитал по звёздам и луне
И прописям гермесовых мистерий,
Что ты сама придёшь на казнь ко мне,
Дабы больней казнить меня потерей.

Как Люциус – мой лучший ученик
Попал на твой раздвоенный язык?



Ты жалила безжалостно стрелою,
Ты воронов звала на смертный пир,
Ты лаврами покрытой головою
Обманывала весь подлунный мир.

Что тебе скверна? Что почёт и трон?
По шкуре стрелы, вороны и лавры –
Такие знаки носит Аполлон –
Бессмертный Бог, а он тебе не равный.

Но смертный Люций выбрал из наяд,
Зачем не притушил влюблённый взгляд
И выпил весь твой сладострастный яд.
Он, как Гиперборейский Аполлон –
Его приоритет меж нас беспорен,
Но ради вдовства, пышных похорон,
Смерть – твой конь Блед –
для скорости пришпорен.

Тут Ламия с молчаньем распрощалась,
Прилюдно на прощанье провещалась:

– Ты мнишь себя всезнайкой посвящённым,
Схоласт, софист и мистик лжеучёный.
Ты обоудный, злобный старикан
Зачем пришёл из жизни позапрошлой,
Ревнивец гордый и развратник пошлый...
Оспорь при всех! Ударим по рукам!

Ты Люциуса к своей былой змее
Ревнуешь на озёрном побережье.
Плачевный опыт берегу, зане
Врагу любви не пожелаю прежней.

Змею ревнуешь к Люциусу? Окстись!
Тут смертью пахнет. Уходи! Смирись!

Не ты ли амулетом Аполлона –
Стрелой – украсил мой змеинный лоб,
У Ариадны выкрал мне корону,
А Люциусу готовишь ранний гроб?



Я столько шкур сменяла ежегодно.
Я жалю? Да. Жалеть я непригодна.
Спасибо, ритор, славно одолжил,
И ныне, покидая эту местность,
Я в пустоту спускаюсь и безвестность –
Мстить и губить людей по мере сил.

Софиста взгляд – острейшая стрела
Пронзила Ламию. В мгновенья уползла
Змея под пол в невидимую дверцу,
Но всё-таки успела проклянуть
Весь мир подлунный, раздирая грудь,
Гостей шипеньем проняла до сердца.

Хозяин молвил: «Был я одиноким,
Пока не повстречал моей змеи,
Неотвратимо наступают сроки –
Уснуть без сновидений сном земли.

И весь разор без чувства оглядел,
Отяжелевшие упали вежды;
Он лёг на одр и в миг охолодел,
Завёрнутый в пунцовые одежды.

Объяснительная записка

Я, нижеподписавшаяся, хочу сообщить читателю некоторые сведения о том, почему, получив в 1966 году в подарок небольшую книгу стихотворений Джона Китса на английском языке, с предисловием и комментарием Владимира Рогова, не отхожу от неё до сегодняшнего дня и никак не могу исчерпать впечатление от третьего великого английского поэта в ряду: Байрон, Шелли, Китс.

В книге не было поэмы «Ламия», но исследователь и переводчик Китса упомянул написанную в последний год жизни поэта поэму «Ламия» – самую загадочную и странную, аллегорическую, иносказательную. Какая аллегория, какое иносказание?! Мне хотелось взяться сразу за эту поэму, но... Пока дети состоятельных родителей занимались с учителями иностранными языками, я упивалась средне-уральским диалектом моей бабушки. Она рассказывала сказки на таком русском языке, что мне приходилось



для пересказа переводить его в разговорный аспект современной городской речи.

Я ещё не знала, как богаты бабушкины присловья дополнительными смыслами, что это богатство пригодится мне в жизни. Одновременно я изучала английский язык в школе, где на базе четырёхсот слов надобно было выучить всю грамматику английского языка и уметь правильно объясниться на английской улице, или в магазине. Пока я даже не помышляла об «английской улице».

Получив Академический толковый словарь русского языка в семнадцати томах на сто двадцать тысяч слов, я убедилась, что знаю не менее ста тысяч. Но когда получила книгу Китса, то это преимущество и торжество омрачалось тем, что я измучилась от недостаточного знания английских слов. Разрыв был велик. Для перевода я выбрала небольшое стихотворение «Кузнечик и сверчок» – со словарём перевела название.

Тема «Кузнечик и сверчок» была предложена Ли Хантом – основателем «Кокни-школы» для 15-минутного состязания молодых поэтов – «лондонских романтиков». Какой тут труд? Кузнечики пели в нашем палисаднике, сверчок зимой жил за печкой, и все говорили, что он стрекочет о выселении из дома (примета такая). Я написала стихотворение на эту тему менее, чем за 15 минут. Как победитель по времени, захотела прочесть, что же там у классика особенного. Я принялась за словарную работу, составила словарики и добралась до смысла конкурсного стихотворения.

Больше всего понравилось название «кокни-школа», что означало «простонародная школа». Иногда о кокни-поэтах говорили: «чернь», это понравилось меньше. Я же знала, что прародитель литературного языка – простонародный язык. Своим простонародным языком я перевела стихотворение Китса. Так как я была автор, переводчик и судья, я сравнила два стихотворения и поняла: они выдерживают сравнение – получился диалог.

Теперь информация об английском романтике, прожившем жизнь, короче лермонтовской, – 25 лет – ловила меня на каждом углу: в библиотеках, в толковых словарях, в истории английской поэзии, в переводах Пастернака, Маршака, Левика и многих-многих других. О, восторг дремучей необразованности перед библиотечными шедеврами. Пастернак назвал это время «квадратом дистанции». Недавно я узнала, что это такое. «Юноша, проживёшь с моё, тоже узнаешь». Когда берёшь книги в читальном зале охапкой до подбородка, а вечером возвращаешь, как условно прочитанные, потому что «новые» – от античных времён до Джона Китса включительно – прячутся от тебя за би-



библиотечной стойкой, а работники библиотеки спуют туда-сюда по твоим заказам и, чем интенсивней они двигаются, тем с большим ужасом думаешь: «Я ещё ничего не читала».

Из того времени сентенция Бальмонта: «Зеркало в зеркало, сопоставь две зеркальности, и между ними поставь свечу. Две глубины без дна, расцветенные пламенем свечи, самоуглубятся, взаимно углубят одна другую, обогатят пламя свечи и соединятся им в одно. Это образ стиха». И вдруг наудачу: в тот же день открытый Фет:

Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом,
Я при свечах навела;
В два ряда свет - и таинственным трепетом
Чудно горят зеркала.
Страшно припомнить душой оробелою:
Там, за спиной, нет огня...
Тяжкое что-то над шеею белою
Плавает, давит меня!

Ну, как уставят гробами дубовыми
Весь этот ряд между свеч!
Ну, как лохматый, с глазами свинцовыми,
Выглянет вдруг из-за плеч!

Ленты да радуги, ярче и жарче дня...
Дух захватило в груди...
Суженый! золото, серебро!.. Чур меня,
Чур меня – сгинь, пропади!

И вдруг, не в тот же день, и уже ощущая себя переводчиком Китса, вычитываю роковые строки в книге «Доктор Фаустус» Томаса Манна о том, что гениальный композитор Левекюн написал музыку на «Оду к меланхолии» и «Оду к соловью» на английском языке. Здесь был, важнее перевода на немецкий, принцип – «Музыка в музыку...», которую не исполняли из-за преткновения языков. Но это уже композитора не волновало.

Как далеко я отстояла от этого прозрения.

Между тем, переводы Китса на русский язык представляли собой грандиозную индустрию, но я не раздумала влиться в огромное сообщество. Почти невозможно было встретить поэта, кто не переводил бы Китса на русский язык и не спросил самолюбиво: «И вы?» Искать среди переводчиков Китса – единомышленников, рассчитывать на сочувствие или внимание оказалось делом напрасным: никто не желал вступать в диалог, каждый собеседник оставался самодостаточным.



Однако у меня такой уверенности всё-таки не было.

Я нашла непереведённое к тому времени произведение Китса – поэму «Ламия». Сочинена она в предпоследний год жизни английского поэта. В последний – он уже не писал стихов.

По мнению многих исследователей, Джон Китс – самый популярный поэт в Англии. Но оказалось, что и самый востребованный переводчиками английской поэзии. Не только русскими. Почему?

Выбирая поэта для перевода, Маршак перевёл несколько стихотворений Китса. Всё же для монографических переводов выбрал сонеты Шекспира и лирику Бёрнса. Вильям Блейк – третий поэт для такого же монографического выбора. Невидимая миру работа заняла сорок лет труда. Знаменитый мастер знал некую тайну мастерства перевода, и Блейк явился пробой пера, камертоном и тайной любовью. С ней великий переводчик не торопился расстаться, не спешил обнародовать самое сокровенное.

К 1969 году я перевела 65 стихотворений Китса. Три года работы казались мне исчерпывающим сроком. Мысль показать переводы хотя бы одному читателю созрела, и мои трёхлетние старания попали в суровые руки одного отличного специалиста по английской литературе. Я получила головомойку в такой культурной и доказательной упаковке, что мне в голову более не приходило соваться к авторитетам за поддержкой.

Ещё три года работы (!) напугали меня на пару дней, и я стала искать новый ключ и новые подходы. Не гналась за количеством, а выбирала то, что было ближе. Так написались стихотворение «Кузнечик и сверчок» и цикл «При музыке» из пяти стихотворений: переводы «Оды к меланхолии», «Оды к соловью» Китса и три, написанных мною. И поняла я, мой ключ – это диалог с иноязычным поэтом.

Ольга Седакова прочла в ИМЛИ на Пастернаковских чтениях свой перевод сонета «Кузнечик и сверчок», а потом на эту же тему своё стихотворение – строк сорок. Не знаю, как другим переводчикам, но мне этот приём был так понятен, так заразителен со времен состязания, придуманного Ли Хантом для английских молодых романтиков.

Одна аспирантка Тихона Хренникова сочинила музыку на мой цикл «При музыке» и записала на несколько дорожек магнитофона в 1982 году. Я не называю её имени, потому что потеряла с нею связь и не могу спросить разрешения. Так вот, партию Китса исполнял самый знаменитый контр-тенор, он тогда учился в Московской консерватории, а за меня пела ученица Зары До-



лухановой с богатым «меццо-сопрано», уходящим в контральто. С таким неосвязаемым подарком я живу по сей день.

Перевод поэмы «Ламия» претерпел неоднократные переделки, она была для меня камертоном, как Блейк для Маршака. В оригинале Китса 700 строчек, а в переводе 1000. Диалог переводчика с поэтом запрятан в трёхстах неавторских строчках.

Все стихотворения Китса, переводы которых решила обнародовать, это произведения конца жизни английского классика. Так получилось произвольно, я выбрала интуитивно то, что было внятно, как Лермонтов и Пушкин. Кстати, в домашней библиотеке Пушкина, в последней квартире поэта, есть первое посмертное издание поэм и стихотворений Джона Китса. Точно такое же мне прислали из Шотландии. По нему и переводила «Ламию».

Меня заворожили определения «иносказательная, аллегорическая поэма». Сорок лет я разгадывала аллегории и иносказания. Вот мои размышления обо всём этом.

Отец Китса умер довольно рано. В осиротевшей семье остались дочь и три сына. Китсу было пятнадцать лет, когда от туберкулёза умерла мать. Эта болезнь не миновала и Джона Китса, хотя временами он полагал, что излечился. Неизлечимый недуг поэт воспринимал как редкую привилегию, отличавшую его от простых смертных, как божественный призыв к поэтическому творчеству. В 1818 г. Китс и его возлюбленная Фанни Брон были помолвлены, но свадьба откладывалась из-за тяжёлого материального положения.

Только оно стало налаживаться, как в конце этого же года от того же недуга умер младший брат поэта – Томас. У самого Джона Китса начался рецидив, и врачи предложили ему уехать в Италию, поскольку человеку, больному туберкулёзом, выжить в туманном Лондоне было невозможно. Но он не выжил и в Италии.

Китс на всё смотрел здраво и, решив не обременять свою единственную любовь, предложил расторгнуть помолвку. Некоторые источники прямо говорят, что расторжение состоялось. И вот переводя «Ламию», я предположила, что бессмертная змея – возлюбленная автора – свела его в могилу. Позднее мне стало известно, что критика беспощадно высмеяла вторую книгу Китса. В «Паломничестве Чайльд-Гарольда» есть две строчки, указывающие на вину журналистов, нападавших на поэта. Третья книга вышла в год его смерти, и здесь началось народное признание его таланта. Байрон ещё напишет после смерти Китса: «Он обещал нечто Великое».



Александр Вячеславович Покидов – переводчик и исследователь поэта – написал: «Китсову «Оду к соловью» можно читать каждый день, всякий раз, не желая ничего более великого». Пришлось мне броситься на злобных журналистов, которые предлагали Китсу «запасаться компрессами», т.е., издевались не только над великими текстами, но и над болезнью поэта.

А Фанни Брон оправдана. Девушка категорически отказалась расторгнуть помолвку, и возлюбленные переписывались до последнего дня жизни Китса.

И вдруг я поняла, что Ламия – не человек, а болезнь, с которой он борется и которую... страстно любит, или даже принадлежит к сообществу избранных. Вот это очень сложная коллизия. Поражают торжественные последние стихи великого романтика о переходе от жизни к смерти, его полное самообладание перед концом, когда он сказал другу – Джону Сиверну, не отходившему от него в Италии: «Не волнуйся, я умру тихо». И умер так тихо, что это последнее мгновение осталось незамеченным. Более того, Китс сам сочинил эпитафию скромного надгробия: «Здесь лежит человек, чьё имя написано водой». Иногда переводят «на воде», но это ошибка. Именно «водой».

Загадка... А «написано на воде» – затёртый штамп.

Необходимо сказать об образах поэмы «Ламия».

Романтик Китс любил античную литературу. Об этом говорят его многие стихи и, в особенности, блистательная «Ода греческой урне». Правда, поэт не знал ни греческого, ни латинского языка – это его стесняло. В «Ламии» он использует греческую и римскую мифологию как нечто единое. Кстати, и в стихах Пушкина встречаются – в Греции – «Юпитер», в Риме – «Зевес». Иногда Китс вводит персонаж из «Сна в летнюю ночь» Шекспира в статусе олимпийского божества – Оберона. Это – герой западноевропейского эпоса XIII-го века. Позднее встречается в произведениях Джеффри Чосера, Эдмунда Спенсера и других английских поэтов. Не буду больше указывать на некоторые несоответствия. Для замысла Китса они не имеют решающего значения.

Комментировать построчно? Очень хочется, но не буду.

Татьяна Фроловская



СКАЗАНИЕ О ГИЛЬГАМЕШЕ

Параллельные миры Ближнего Востока. Саваоф – бог Авраама и Мардук с пантеоном – боги Гильгамеша.

(Собрано по памяти сказителей
на Великом пути)

Посвящение

Мурату Ауэзову

Он спустился с Хан-Тенгри на Шёлковый путь
По напутствию Бога: «Меня позабудь!
И себя позабудь! Помни сирых подножья!
Не скупись, запиши, что находишь возможным.
Здесь Гомер побывал,
под формингу блистал,
«Илиаду» к степям приспособил,
а не сам ли Шекспир на кочевьях играл –
покоритель дорожных колдобин?
Заиграешь, как боже сподобил!
Гильгамеш танцевал, бушевал, точно вал.

Александр Македонский оставил свой след:
И с Пржевальским делил он походный обед,
Ты же помнишь, тебя Македонский отметил...
И за вымыслы правды один ты в ответе.
И теперь за «Времён непрерывную нить»
(ты богаче, чем Крёз) и обязан платить
по долгам всех героев, попавших в сказанье,
Тонко-тонко прядут шелкопрядную нить...
Это главный наказ – за талант – в наказанье».

Предуведомление

Мерзлота меж полюсами
залегала, знаем сами.
Сколько надо праздных лет,
чтоб сменить на воду лёд,
чтоб делювиальный след



тучной почвы обнажился,
чтобы хлеб взрастил народ
и хозяином прижился?

Пять миллениумов мало,
чтобы память осияло
первозданной мерзлотой,
если пять тысячелетий
фараоны, будто дети,
с безупречной простотой
заигрались в пирамидки,
Нил на ил растёкся жидкий,
только это не потоп,
а полей обогащенье,
вечной славы ощущенье
строил пленник, раб, холоп.
Богатейшая прислуга,
обгонявшая друг друга,
в память смерть преобразит,
наподобие бессмертья,
в хлебодарной круговерти
выгоды сообразит.

А тем временем потопа
добирались до Европы,
где ещё библейский Ной,
юный, памятный, родной,
не родился.

Пригодился
старый, строгий Утнапиштим –
он до наших дней не лишний
(мы о нём ещё услышим,
мы о нём ещё напишем).
В свой ковчег собрал по паре
диких и культурных тварей –
пусть плодятся, дай им бог.
Бог по доброте помог.

Для утопших остальных,
Кроме обращений к богу,
Мало ль адресов других?



Полагаю – очень много...
Обращайтесь, обращайтесь!
Очень-то не обольщайтесь!

Что за башня Вавилона –
наводнению оборона –
для легенд, предположений,
мыслимых сооружений?
Вздорное имею мнение,
где пристать от наводнения.
Может, это Чжумуланма –
Гималайский Эверест.
На земле чудес немало,
мало ли высоких мест!

Дайте, дайте подтверждение,
просто верить не резон.
Как мечта и наваждение,
точно вавилонский сон,
в наше новое столетье
благости и лихолетья,
сквозь пургу, туман, мороз
явно слышу голос трубный,
и пока ещё мы тут,
пусть крылатые изюбры
в снежных сопках пробегут.
А диковинные птицы,
как свидетели чудес,
к нам обязаны спуститься
с незапамятных небес.
Вот тогда уж мы поверим
в сказки глиняных таблиц,
расплатившись в полной мере
русской верой без границ.

1

Герой наш юный Гильгамеш –
на треть он человек обычный,
две части – бог. Как жить промеж
людей? Как богу? Неприлично.
Как человеку? Стыд и срам.
Как жить ему, не знает сам.



Вкусих брожения лозы,
в пещеру и на ёлку влезет.
Сказать ему – никто не смей!
О яйцах поднебесных птиц –
синичек, горлинок, орлиц –
о яйцах преисподних змей
он, точно о закуске, грезит,
сгребает будущий приплод
и отправляет в жадный рот.

Отнять невесту жениха,
у буйволицы – буйволёнка,
у оленихи – оленёнка,
отнять дитя – его рука
простёрлась, и не усомнится...
И праведная жизнь не снится.
Здесь всё моё: я – Царь, я – Бог!
Никто несчастным не помог.

Он всё, что можно и нельзя,
уже познал. Его стезя
ему наскучила, а людям
ещё сильнее она претит.
Молва недобрая летит,
но буйный норов непробуден.

Вот народился виноград –
рабы его ногами месят,
струя бежит, а он и рад,
насочинял весёлых песен,
поёт, уж истинно, как бог,
и пляшет зол и легконог.

И зреет заговор блудниц.
Не то, чтобы в защиту птиц,
зверей лесных, девиц невинных,
мужей несчастных, матерей –
в защиту права меж людей
взамен бесправных сборищ винных
блюсти какой-нибудь закон,
что царской воле незнаком.



2. Лугаль – должность главнокомандующего войском,
переходящая в безраздельное царствование

*Люгальбанда – так звали папу –
он вроде второсортный бог,
но Гильгамеш-наследник мог
и наложил на должность лапу,
и принял нужное прозвание
безродным смердам в назиданье.*

Клинописный знак Лугаля
у шумер красноречив:
труб раструбы, кубки, стрелы –
слишком выпренный мотив.
Он стрелец, он забулдыга,
сочинитель и трубарь.
Видно, в вековую старь
отыскали, откопали,
окультурили лозу –
пьют и ни в одном глазу
сожалений, угрызений –
к миру нет поползновений.

Интересный нам Лугаль –
царь и воин производитель,
самодур и повелитель
для Мардука – рядовой.
Смертный плебс возвёл строенье –
Вавилонское творенье,
и закрылась вертикаль,
уходящая под небо,
внове избранный Лугаль
полным богом всё же не был.

Где? В Уруке или в Уре
избран Важный человек?
Стал царём, ходил не в шкуре.
Был мужской одежды век –
в тазобедренной повязке,
в тунике шерстей хороших,
чей конец был переброшен
через левое плечо,
меч носил позолочён,

по колено в сапожках,
в крокодильих ремешках.

3

Жена Мардука в храмовом строенье
век коротала в звёздном настроенье.
Богиня Царпанит... О! Сарпанита!
была продленьем рода знаменита
на полный вавилонский пантеон –
беременность, рождение потомков.
Порядочные жёны ждут ребёнка –
мольбы к богине ото всех сторон.
Но без любви и дети не родятся.
Иштар была обязана вмешаться,
хотя блудниц, прислуживавших ей,
гораздо больше, чем простых и верных,
и, может быть, порядочных милей...
Но как-то два лица слились в одно –
Иштар и Сарпанита, так, примерно,
в Месопотамии давным-давно
такое вышло недоразуменье,
как должное, людьми заведено,
летит от поколенья к поколенью.

Мардук – Бог солнца – на ночь удалялся,
свет голубой звезды – Иштар – являлся.
Как смена караула, свод багров,
темнеет, и уже на чёрном своде
дворец благословит и бедный кров.
Восходит бесподобной красоты
звезда, подобие такой звезды
мы можем видеть в нашем обиходе,
где протекает наше обитанье.
Зовём Венерой. Как ни назови
восторг явления бурлит в крови,
когда во тьме идёшь к ней на свиданье.

Но это – новодел и модернизм.
Звезда-Венера с неба смотрит вниз
И возраст свой столетьями итожит.
А та – Иштар – тысячелетий шесть



необоримую простёрла весть –
одна любовь спасёт, одна поможет.

По замыслу иштаровых блудниц
и нескольких служилых в храме лиц,
был вынесен вердикт для Гильгамеша –
сломить его несокрушимый нрав,
бесчинства справедливостью поправ
(уж весь народ обижен, безутешен)
и никому о том не говоря,
наслать на полоумного царя
подобие несокрушимой силы.
Иштар (как мать в утробе плод носила)
в утробе выносила встречу равных сил.
Конечно, царь помощи не просил.
Вернуть мышление к норме – жизнь просила.

4

**Отступление про Урского
Лунного странника**

Тыщу лет ждал на вызов ответ
гордый Ур, по-библейски, Халдейский,
но Урук появился на свет
из земли, точно выбух злодейский.
Золотые тельцы – всем отцы,
бык золотой охраняет ворота,
предсказатели – старцы-скопцы,
криворотые с водоворота
на слиянии Тигра с Ефратом,
в золочёных кульках-колпаках
и в халатах – заплаты к заплатам,
горстка камешков с жаждой оплаты
в подагрических бьётся руках.
А тимпаны – из всех подворотен,
тамбурины и бубны, кимвал.
Забренчал – и жених приворотен,
Пропустил – кур во щипе пропал.

Клинописные тексты хранить
не стремились шумеры Урука –
жить, рожать, погибать, хоронить...



Скот – овец и верблюдов – плодить,
торговать – сытой жизни порука.

А десяток прошедших столетий
затерялся неведомо как.
Урский странник, лишившись всех благ,
обладал сыромятною плетью,
коей ослика бил по бокам,
чтоб скорее бежал он из Ура.
Ослик тоже не верил богам,
как хозяин его Авраам,
Вавилонию звал преисподней,
повеление плётки исполнил.

Путь лежал, значит, в Урусалим,
озаботились делом одним:
там никто б не коснулся проблем,
не взглянул бы, не выдумал даже
затевать разговор о продаже
драгоценной сестрицы в гарем.

Сам Нимрод – безраздельный властитель,
сластолюбец, тиары носитель –
вознамерился выстроить башню
его Сарре – сестрице во браке...
О, как это бесстыдно и страшно –
остальная дорога во мраке.
И тем более, бог его веры
обещал ему обетованье
и потомков по свету без меры,
без насильственного расставанья.

* * *

Заклинал он небо щедро,
еле видную звезду...
Солнцу дня, луне ущербной
разносил оброк и мзду.
И Мардуку поклонился,
Аштарот облобызал,
перед всеми прослезился,
утомился и сказал:



«Воскуренья в каждом храме –
дым взлетел под небеса,
а божку, что снизу, с нами –
тьма, хоть выколи глаза.

Вдруг божок сто сорок пятый,
рассерчает и наплёт
пагубу в свой час проклятый
на бесчувственный народ».

Авраам задумал с Миром
сопоставить Одного –
Главного, а всем кумирам
не оставил ничего.

«Чем кадить нам – скотоводам?
Много ль жира в курдюках?
Есть Единый – он свобода.
Жизнь моя в его руках».

И когда узнал, освоил:
Бог – Пространство, где ему,
чтоб других не беспокоил,
место дали по уму.

В этот бывший день последний
многих он поверг богов!
Хоть стоял, как царь наследный,
нажил тысячи врагов.

Он ушёл из Вавилона,
гнавшегося по пятам.
Был он Богу оборона,
навсегда остался там,

где был час уничтоженья
полчищ подданных божков
и свершилось Возрожденье
до скончания веков.

Вот и все его резоны.
Миру мир он отворил,

многобожьем покорённых
капища приговорил.

* * *

Длинным-длинная присказка здесь –
род ждал дольше, чем бог обещался.
Ур Халдейский в истории весь
сохранился и в срок провецался,
что неправ был спесивый Урук,
что забыл, как ушёл Лунный странник,
но не выпустил Сарру из рук.
Жизнь – не башня, а всё ж многогранник.

Где обещанное, где живот?
В непроглядном бездетном угаре
та, законная, мужа зовёт
пусть родит от служанки Агари.

Ах, бессмысленен бога обет,
видно, боже не чужд сумасбродства,
чтоб с войсками две тысячи лет
двум ветвям рвать себе первородство.

В этих перипетиях семей
все завязли – аккады, шумеры,
и филистимлянин, и еврей.
Я за что? Я, как все, для примера.

* * *

Все персонажи богатых затигрских земель
Тянут, сумбур многобожьего существованья,
И Авраам, озабоченный обетованьем,
До появления Ицхака попался на мель.

Первый из первых в Египет тогда заглянул,
думал пожить, но раздумал – домой воротился...
Кто этот Нил не по правилам литься загнул?!
Вспять против Тигра с Евфратом – на север пустился.

Вверх по теченью с гребцами попятного Нила
в гору плывёшь... В усыпальницах берег, в могилах.



Тигр, очень буйный, а всё-таки мчится на юг,
Смирный Евфрат, не соперничая, поспешает,
Вёсла стоят вертикально – ничто не мешает
К обетованью вести позолоченный струг.

Можно плодить от рабынь ханаанским пророкам?
Можно родиться для подвига, но околеть.
Есть же Единый. С другими не должно и сметь
род продолжать – размножаться песком за порогом.

Урскому страннику был Вавилон, точно плен.
Благотны земли – по обе границы Хеврона
издали виделись крепостью и обороной.
Внук был удачливей – вывел двенадцать колен.

Вспять он бежал по дороге великого деда.
Думал с богатством вернуться в родные края,
вот уж тогда для него засияет заря,
вот уж тогда будет полная жизнь и победа.

Но до того преисподнюю выбрал судьбу,
дедовской практикой юный Иаков раскован,
проданный правнук – египетской тьмой очарован,
в обетованную землю вернулся в гробу.

Что ни затеешь, у бога свой личный расчёт,
смертному спорить не стоит: страдай и смирайся.
Только родился – не спи – в дальний путь собирайся.
Жизнь водопадом обрушится и утечёт.

5

Удивительное превращение Энкиду в человека

*В стороне от Урука, вдали
мне уже замаячил Энкиду;
его вылепили из земли –
Гильгамешу отмстить за обиду.*

Забыл есть траву со скотами,
из лужи пить, спать, где придётся,
не знал других месопотамий,
помимо чёрного болотца.



Не грех не знать других двуречий –
не знал он человеческой речи.
Он тигров рвал, но Тигр с Евфратом
неведом был ему когда-то.
Не знал он города Урук,
а людям был ни враг, ни друг.

Своих сожителей – зверей –
забыл, они его забыли,
он скоро мифом стал ей-ей,
и начались другие были.

И Гильгамеш забыл, что сам
упал в коленки плакать маме,
как он сходил в Ливан, в Элам,
искал – подраться.
«В этой драме
не сдвинул с места Энкиду!
Небось, гореть теперь в аду,
взамен мозаичных парсун
из бриллиантовых стекляшек...
Я – великан! – пред ним – мурашек!»

Божественная мать Нинсун
скотом домашним управляла,
как одомашнить, точно знала:
«Пошли развратную Шамхат –
она с ним сладит – будешь рад».

Очеловечен Энкиду,
у всех двуногих на виду,
он стал примерный горожанин,
шумерских храмов прихожанин,
был ранее животный лик,
как зверских перечень улик.
А ныне новое лицо он:
весь завитками окольцован
и с бородищей завитой
смотрел, как царь или святой.

Он огляделся и прикрыл
расшитой тканью волосатость,



и пелерина парой крыл
исправила спины горбатость,
подрезал патлы головы
и стал ходить как я, как вы –
без рук ходил, на двух ногах,
в сандалиях и сапогах,
и очень скоро рук мозоли
размякли и сошли на-нет,
стал мясо есть, с приправой соли
с вином на завтрак и обед.
Свою любовь к зверям забросит –
для ублажения девиц,
а те упасть готовы ниц –
пойдут на всё, что ни попросит.
Но он не просит, он берёт,
что взял, назад не отдаёт.

Кто обучил таким наукам?
Шамхат, по вавилонским слухам,
очеловечила его,
не взяв в оплату ничего.

6

Вот так Энкиду с Гильгамешем
нашли друг друга на беду
Хунваве – властью леса лешим –
и счастливы в своём бреду.
Какие мирные картины!
Как дружат эти побратимы!
И рабские свои места
народ уже не проклинает
не жалуется, не стенает,
доносом не сквернит уста.

Две мощных силы всех потешат –
с Хунвавой справиться – мечта.
«Зачем он в кедровые межи
нас не пускает? – Неспроста!
Не позовёт на огонёк,
не даст мешка кедровых шишек,
придурковат и недалёк,
а кедровых лесов излишек».

Молвит Энкиду: «Хозяин ореховых кедров – страшный Хунвава – вовек не помог животине – бьёт росомах и медведей, а лоб его медный не постигает, что птичкам и прочей скотине надо питаться, а чем? Бурундук многодетный, голубь небесный, орёл и павлин разноцветный, белочка... много ли съели припасов Ливана? Роцца от бога. Орехи – небесная манна. Много ли съели земные зверушки припасов? Только врагам великана от гнева нет спаса. Каждую осень побоище – кровопролитье. Не человек он, а зверь в человеческом обличье – в сучьях ручищи, и рожей, и всем первобытен». «Ну, так пойдём и убьём его – мы же герои». – «Не представляешь, с какой столкнёшься горюю». «Я, – говорит Гильгамеш, – знаю меч и молитву! Этот урод ни богам не пригоден, ни людям. Прежде его напоим, как уснёт непробуден, так и зарубим и кончим победную битву».

Люди Урука ещё не забыли той драки, где Гильгамеш и Энкиду схватились на равных, лбами безрогими бились с рассвета бараны, и провалились ногами под землю во мраке.

Расхохотался тогда Гильгамеш: «Я всё понял. Ты вразумил меня силою необоримой. Я не тщеславен, и рад, что от схватки не помер, будешь отныне ты мне, мой родной, побратимом».

Как восхитился народ благородством царя, много-премного простил из его притеснений, только Энкиду, по-честному говоря, замысел – спящего бить – обратил в изумленье.

Ночь наступила, и все разошлись по домам, спал на перинах Энкиду, но, как на иголках, раньше он не дал бы воли сомненьям-громам... Утром сложил страшный сон из ничтожных осколков.



Станет ли длить вавилонянин, если сменил
утром, задуманный вечером бой – на другое.
Он и пошёл к Гильгамешу – признаться: «Нет сил,
боги наслали знамений – грозит мне дурное».

И Гильгамешу привиделось в чёрную ночь,
будто гора погребла его в чаще пред боем.
Молвил Энкиду: «Намерены боги помочь!
Это Хунвава свалился сражённый тобою.

Я не пойду на Хунваву. Страшнее мой сон:
он предвещает мне гибель, капканы, ловитвы.
Брат мой, скажи мне, какой нам с тобою резон?
Лучше вернёмся в Урук – нам не выиграть битвы».

Издревле в мире беда не приходит одна.
В этот же час, в сотый раз, изменивши Таммузу,
вышла Иштар из воды среди белого дня,
изобразив в Гильгамеша влюблённую музу.

Он отогнал её, не собирался грешить –
дружба с Энкиду была ему жизни дороже.
Было два сна, что же выбрать, не могут решить.
Не сомневались, когда они были моложе.

Но Ашторот понеслась к богу неба – Ану:
«Дай мне быка разъярённого на Гильгамеша!
Он пренебрёт моей страстью – его прокляну
и затопчу, и спалю, на воротах повешу!»

Птицей Иштар на быке гарцевала, пока
в ярость ни впал Гильгамеш, и себя он не помнил,
вырванным с корнем святым причиндалом быка
в голову ей запустил.
В этот срок переломный

вышел Хунвава из леса и вырвался крик.
«Драться!» – призвал устрашающей глоткою трубной.
Рубка пошла беспорядочно в этот же миг –
меч и топор – и Хунвава валяется трупом.

Всё же их двое – Хунвава явился один.
Как он надеялся на устрашение видом,



но ни Энкиду, ни друг его и господин
не сплеховали, обидой попрали обиду.

Долго потом отдышаться они не могли,
прежде, чем вспомнили, что сомневались – рубиться ль?
И сокрушались, что Энлиля – бога земли –
чуть не забыли, решили с добычей явиться.

Эту добычу нельзя ни поднять, ни унести,
долго не думая, голову враз отрубили,
спрятали в мех, понесли: и подарок, и месть –
и супостата кедрового смерть подтвердили.

Энлиль не рад. А героев встречал, как врагов,
сам сочинивший Хунваву трудом насладился,
через Хунваву на бедных скотов напустился,
и на людей, на царей и на полубогов.

Бог лицемерный торжественно благодарит,
дарит героям печатку из красного камня –
камень внутри воспалением мозга горит,
а для гостей открывается божья поварня.

Чем накормили, никто донести не готов;
только Энкиду от рези в желудке скончался.
Сам Гильгамеш с божьей примесью крови богов,
благо, не умер – от ветра, как прут, закачался.

Вот он – сон в руку, раскаянье гложет, тоска,
вот он клянётся, что вырвет у смерти Энкиду,
след его ног засыпают барханы песка,
мыслит: «Без следа в Урук благодатный не выйду».

8

**Гильгамеш ищет Энкиду в подземном царстве.
Перевозчик Уршанаби встречает прибывающих**

– Сколько скитаешься лет,
Ты, отставший от мёртвых? –
Так Уршанаби впрямую
спросил Гильгамеша.



– Дюжину! Солнечный свет
мы когортой упёртой
прокляли напропалую.
Я круто замешан.

Трудно – нет друга в живых,
да и в мёртвых не видно.
Ходит Энкиду отдельно
и ждёт воскрешенья?
Нет мне других дорогих
и за друга обидно,
я ведь люблю беспредельно
и жажду прощенья.

Я ль ему не обещал возвращение к жизни?
Боги вовеки такого не обещают.
Знай, мартирологи пишут и пишут, и пишут.
Жизнь им – ничто – но стращают,
про смерть сообщают.
Нет никакого порядка в загробине нижней...
Где тут бессмертные? Где тут живёт Утнапиштим?»

– Смертный с бессмертным не встретятся в нашем пределе,
я не припомню, а я – водогребщик старинный,
старый-престарый, вернее, и знаю на деле –
путь свой загробный, унылый и длинный-предлинный.

Сядь в мою лодочку. Я и тебя покатаю...
И успокойся – здесь щелки шмыгнуть не найдётся.
Поговорю с тобой, милый, и сердцем оттаю,
в сад отвезу и немного посплю, где придётся.

Ты расскажи мне, кого и зачем его ищешь?
– Знаешь Энкиду? Мы с ним победили Хунваву.
Энлил его сотворил, дал и воду, и пищу,
с ним над людьми и зверями глумился на славу.

Энлил гордился Хунвавой, а нас ненавидел,
чёрный бугай был запущен с небес на дорогу,
был он страшнее Хунвавы и четверорогий...
Мы приложились достойно, и кто его видел?



Боги земные за всё мне с лихвой отомстили –
чёрную немочь на друга, как вихрь, напустили,
умер Энкиду, и я его не воскресил.
чувствую мало осталось мне жизни и сил.

– Это поправить возможно, прибавятся силы...
Жить тебе надо, Энкиду не забывая.
Горькое горе тебя не на век поразило,
ты воскресишь его памятью, здесь пребывая.

Ты от расстройства упорство своё не ослабишь?
Я не видал тот причал – Араратские горы.
Сам Утнапиштим у нас, как разверзнутся хляби,
в прах обращает преграды, замки и запоры.

– Разве потоп повторялся?
Старик рассмеялся:
– Был бы единый! Давай с тобой здраво рассудим:
Твари из тысяч – по паре... мир в муках менялся.
В этой пещере покойны утопшие люди.

Он для того и бессмертен, чтоб мир повторился,
за катастрофой опять расцветал и плодился.
Что же ты, гордый герой, на пути растерялся?
Новый Энкиду уж где-нибудь, да народился.

В этой пещере народ от чумы погребался,
в этой пещере холерою был уничтожен,
в этой – мыл золото и от трудов надорвался...
Смертным закон – умирать через век – непреложен.

– Друг мой оставил меня? Почему он оставил?
Я не узнаю его. Я умру от чумы и холеры!
Это Бог Энлил повсюду ловушки расставил
Всё ещё злится – расчёлся неполною мерой.

– Ты считаешь, пора бы тебе примириться.
Зависть ли это, а может быть, просто незрелость?
Все ли в твоём бытованье достойные лица?
Не погасить, что само по себе загорелось.

– Ну, а теперь, – молвил старый старик Уршанаби, –
мы заплываем в наш сад, мы увидим с тобою:



это Спаситель, прошедший небесные хляби,
сад насадил необычный под чёрной землёю.

– Можно ли съесть этот плод, поразительно красный?
(Как я скучаю по яблокам нашего сада!)
Вид его – чудо и вкус, несомненно, прекрасный, –
это прохлада, услада, надежда, отрада.

И говорит Уршанаби:

– Конечно, без яда
яблочко это, но съесть его вряд ли возможно –
это же камень-рубин. Обитатели рады –
здесь им не есть и не пить –
услаждаться картинами можно.

Лист на ветвях – изумруд, малахит с хризопразом...
Жаль, посетитель недолгий, но крона густая,
осенью листьям и мёртвым обычай наказан –
в золото преобразаются, назем слетая.

Но Гильгамеш удивился: «С чего я «недолгий»?
Кто это знает? А речь твоя что-нибудь значит?»
«Я, – говорит перевозчик, – сказать тебе должен,
Сам Утнапиштим в ковчеге пустынею скачет».

– Где, покажи мне!
– Гляди, над барханом песчаным
точкой, чуть видной, его бактриан показался.
Это пустыни ковчег. Сам плывёт долгожданный.
Он за тобой... На случайность он не полагался.

Сей мохноногий ковчег доплывёт к океану
и Арарата достигнет, а надо – Египта,
а Утнапиштим – герой во трудах непрерывных –
автор первейшего в древности манускрипта».

9

Гильгамеш в пути не спятил –
на две трети был он бог
познанное всё растратил,
но рассудок уберёт.
Он в опорках блудным сыном



обошёл подлунный мир,
и смирился с вражьей силой –
все надежды уморил.
До Больших ворот Урука
сам Спаситель проводил.
Положил на темя руку
и напутствие родил:
«Ты же царь, живи один!

Не тревожься о бессмертье –
мерю одной измерьте
этот мир световоздушный,
воздух цветозвуковой...
Не сравнится век бездушный,
с самой скромною травой.
Будь доволен каждым мигом,
что отпущен на земле,
всё по клинописным книгам
прочитаешь обо мне.
Там такое содержание:
что дано, ты совершил.
Не награду – наказание
за деянья заслужил.
Это всё мы заслужили –
выбор наш, однако, в силе,
но пройдут века-века,
верная моя рука
лучших выловит в потоке
и поднимет на ковчег –
дело здесь не в гороскопе,
не в богатом остолопе,
хоть в холопе-рудокопе
выявится человек.

Ты получишь бесконечность
вечной жизни безупречность,
но забудь свою беспечность –
и дерзай, и помогай –
у тебя в запасе вечность,
у тебя в запасе рай.

Отыщи сквозной колодец –
называется обводень,



метеором порождён,
камнем в жерле обведён».

Не забыл сказать Спаситель,
как должны светить в тот час
каждый звёздный небожитель,
выкативший напоказ.
Как спуститься,
как молиться...

«Ты на дне найдёшь цветок
И храни его, как око,
чтоб никто украсть не смог
до положенного срока.
Срок ты сам определяй –
Ад ты выберешь иль рай.
Это тоже в твоей воле
Ничего сказать я боле
не скажу. Ты сам богат –
хочешь – в небо, хочешь – в ад».

Много разных наставлений
Утнапиштим надавал,
Гильгамеш их без сомненья,
как мальчишка, постигал,
в путь готов без колебаний –
вечно жить – предел желаний.

10

Лежесные плечи, атлетический торс –
не пустые от Бога пришли обретенья,
но и рук человеческих – апофеоз –
идол-бронза у солнечного сплетенья.

Ещё низко Арктур в Волопасе стоял,
Аштарот закатилась в расчётное время,
Утнапиштим указов своих не менял,
Гильгамеш прихватил два нелёгких беремья.

Он несёт, как пушинки, в руках валуны.
Не Сизиф – не уронит в низинные дали.
Он дождался зенита зелёной луны,
привязал каменюки к воловьим сандалям.



И бултых – прямо в бездну! Колодезь глубок.
Миг – и он возвратился и голый, и босый,
Астероид-Полоний безмолвный, как бог,
Птиц во мраке отпрянул базар безголовый.

Без одежд Гильгамеш прижимает к груди
горстку нежных, как солнце, горящих соцветий,
он добыл бесконечность веков впереди –
он один – обладатель бессмертья на свете.

Малый алый цветочек пронёс во дворец,
и не веруя в искренность чуждых сердец,
никому, ничего о себе не поведал,
сам один, сам с собой наслаждался победой.

Уходя по делам, брал с собою цветок,
и теперь одного пережить он не мог –
разделил бы с Энкиду он радость бессмертья:
«Для чего одному мне так много добра?
Мы бы срок поделили – не встали с одра
в один день, в один час, после тысячетья.
Столько лет, столько зим куковать одному
не желаю себе, никому, никому,
даже злому врагу этих мук не желаю.
Ранним утром один ото сна воскресаю
и один сам себя я в пучину бросаю,
от себя, как безумный, в пустыню бегу...
Даже лютому не пожелаю врагу...»

11

От безделия он сочинил два преданья:
родовое, ведь род его был знаменит,
мировое – раскинувшийся гранит
для полсотни народов внутри мирозданья.

Там всё истина: с юности он тяготеет
Только к драке – другое, не ставил и в грош:
Ни торговлю, ни золото, разбойный грабёж –
В мордобое силён и жалеть не умеет.
Дикий бык набежит – в лоб получит упрямый.
По барханам в пустыне не ходит народ –
Льва свирепого встретил – под мышкой несёт



Лев отбегался, будет сидеть у ворот,
Гриву и потроха растеряет гунявый.

А второе приданье: он – царь Гильгамеш.
Он не оруженосец – отец для народов –
в нём видна государственная порода –
он, как солнце восходит, и весел, и свеж,
вражьих сил занимая последний рубеж.

За войной виноградные праздники сплошь.
Иудей, и аккадец, шумер, ассириец –
Гильгамеш и поил, и кормил – всем кормилец,
всех богов переспорит, а людям – хорош.

12

С бессмертием он стал возвышенной и проще,
Достигнувший всего, чего и не просил,
Он пешим посетил ореховую рощу,
Энкиду не нашёл и выбился из сил.

Он был готов вернуть невиданное свойство,
но с той поры наш друг ни разу не встречал
хозяина людей, бессмертного довольства
и лодочника скорбного причал.

Меж небом и землёй узнал он всё на свете;
он в боль и радость олицетворён.
Теперь пора за праздники ответить,
за скорби всех испытанных времён.

Смертельно он устал, одной объятый думой,
бессмертия цветок пересадил в песок
и переплыл Евфрат, и стал столпом угрюмым,
процально поглядел, как свод небес высок,
как выползла змея, (неужто гробовая!),
и пёстрой, скользкой плотью оплела цветок,
по левой стороне Евфрата проплывая,
нырнула с ним в бесчувственный поток.

«Пусть поживёт змея. Она меня мудрее,
а я прожил своё, я больше не могу».
Он до сих пор стоит, под ветром не старея,
как изваяние, на правом берегу.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление Л. Шашковой	3
День рождения.....	11

КАЛЕНДАРЬ

«День торжества, день гнева, день утраты»	12
Октябрьская капель	—
Закат в августе.....	13
«Ветви лунным светом озарены»	14
«Кривые зеркала – календари»	—
Октябрь	15
«Небо вспыхнет последней зарницей»	—
Пастораль	16
«Не надо музыки, и так моя душа»	—
«Я помню, чей тогда был день рожденья»	17
Цирк	—
«Твой поезд уходит, а я останусь»	19
Пробуждение	—
Карманьола.....	20
В конце лета	22
Осень	—
Нелюбимая	23
«Бегу сквозь жёлтый парк прощаться»	24
«Позднейшей осенью прозрел суровый Гамлет»	—
«Подступил октябрь и раскинул табор»	25
«Забуду, выйдя на крыльцо»	—
«Голубка-тень на голубом снегу»	—
«Горчит раздумье. В то, что я таю»	26
«На волю, за город, в широкие поля!»	—
Путивльский плач	27
Утро.....	—
Донна Анна.....	29
Декабристы.....	31
Старый дом.....	32
«Приснился мне позеленевший снимок»	33
Вспоминая Алтай	34
Из русской летописи	—
Агнец	—
В церкви святого Василия	35
Проклятие народа.....	36
Сократ и Федр.....	—
Не кончена книга	37
Иск уст.....	38
О чём поёт дрозд.....	—
«Так захотелось быть похожей»	39
Английские подстрочники	—
Стеклодув	40
«Я всё с тобой проститься не могу»	—
«Живёт поэт: ни птица, ни трава».....	41
«Меня замучил пятистопный ямб»	—
«Случилось так, живут в моей ладони».....	42
Кузнечик и сверчок	—
Наверно, я – кузнечик, наверно, вы – сверчок	43
«Живу одна, как сыч, среди стихов»	—

«О, суета, страшнее нет позора»	44
«Веселье кончилось, умолкли соловьи»	—
Вблизи Елабуги	—
«Мне хочется порисовать»	45
В зеркальном классе пантомимы	—
Сыну	46
Осенний день	47
Творец	—
Для полного счастья	48
«Вторгается лето в февральскую вьюгу»	49

ЗИМНЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Ледоход	50
Гимн весны	—
Конкурс детского рисунка на асфальте	51
Мой город	53
Нечернозёмная Россия	54
Зимняя степь	55
Зимовье	56
«Зачем рвалась приехать в Ленинград?»	57
«Без печек холодно в домах»	58
«Не объяснить преображенья»	—
«Во странничестве умиротворён»	60
Питер Брейгель. Зима. Декабрь	61
«Иссяк запас лирических сюжетов»	62
О ХЛЕБЕ	63
Март-апрель	67
«Я прилетела к вам издалека»	68
Сенокос	—
Мартовский снег	69
Словарь языка Пушкина	71
«Что ни ночь гроза над нами куролесит»	—
«Из-под гриба, из-под горы»	—
Поэту	72
«За ветром, ревевшим с особой досадой»	73
Зимнее воскресение	74
При музыке	75
Простые люди	81
«Белый реквием метели»	82
СТРОКА ПРИГОВОРА (<i>Поэма</i>)	83
Тысячелистник	96

КОРЗИНА ЗЕМЛЯНИКИ

«Пустыня-комната – вот мой уют»	97
Север	98
«И соловьиный сад, и муравьиный скит»	99
«Неизмерима мук величина»	—
«Всю жизнь свою чего-то жду»	100
Рифмы	101
БАЛ-КАРНАВАЛ	102
И если петь... ..	104
«Нашей жуткой полуправдой»	105
«Сон длился двадцать лет»	106
К переводам	107

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ ДЖОНА КИТСА	—
Античная амфора	—
Немилосердная дама сердца	108
Праздная душа	110
«Как Крошечка-Хаврошечка у мачехи бесслёзной»	111
Опять гроза	112
Птичий вылет	114
«Такого неба небывалого»	—
«Древне-юная звезда»	115
МЕЛАНХОЛИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ	117
«На осень мне Вергилия подать!»	121
«Ветер – бестолковый дворник»	—
Песня о себе	123
Ночная птица	126
ЧЁРНЫЙ ОХОТНИК	128
«Подошёл незаметный денёк»	134
Последний день августа	135
Грустный рассвет	—
«То не запах вина из давилки»	137
«Стоит зима, как чаша с халкидомом»	138

СЕМЕЙНОЕ ПРЕДАНИЕ

«Этот образ не странник, а беглый беглец»	139
«Поблизости счастья и лиха»	—
«Пока я шишигой бродила в лесах»	140
Вступление зимы	141
«Долготерпенье долго лгало»	142
СЕМЕЙНОЕ ПРЕДАНИЕ	143
Послание первое	144
Послание второе	145
Послание третье	146
На Каспии в марте	147
Ода к Психее	148
«Гербарий мой – трагедия Шекспира»	150
«Весною ранней липа и калина»	—
Август	151
«Сегодня к нам из сада»	—
«Подорожник выдал мне»	152
Встреча с песней	—
Март	153
Символы	—
Памяти Николая Бруни	154
«В дырках спецовка пророка, провидца»	155
«Вавилон отъезжающих – сто языков»	156
1863 год	—
«В Камбарке мать малину продавала»	157
Моя вымершая деревня	158
Вольная глухомань	159
Воспоминанье о козе	160
«Вот домик-завалюха»	161
Подмастерье пророка	162
Любовь	163
Вот моя деревня	164
«Здесь лудили и ковали»	166

Цыгане.....	167
«Зима наступает – не ждали её»	170
Созвездие Пса	—
Конюшня.....	171
МОЛЕНИЕ ЗАТОЧНИКА	173
Волчья песня	179
«Как герметична тьма»	180
Улица Станкевича	181
Монолог любовницы Гойи	182
«Мартеповская печь и дантовы круги»	183
«Я начиталась на своём веку».....	184
Ленинград	185
Русалочка.....	186
«Здесь не по-нашему брешут лисы»	187
ГОРЕ-ЗЛОЧАСТИЕ	188
«Озоном лёгкое прострелено».....	198
«В житейской веренице лиц».....	199
«Полночный обход деревенской луны»	200
«Тихий, тихий туман»	—
«Если я тебя покину»	202
«Не видать нигде огня».....	—
На звере багряном	203
Ожиданье гостей в дождь	204
Сентиментальное имение	205
«Гляжу со стороны: серьёзный вид»	206
«Гравюру, светящую в окнах полсуток».....	207
СТРАСТИ МНОГИЕ	208

ВО ВСЕ СТОРОНЫ СВЕТЛО

«Загуляли листья с самой ранней рани»	234
Родина	—
«Счастливой юности года»	235
«Искушают снега накануне весны»	—
Настроение	236
Белка	237
«Шелками шелестя»	—
«Дитя Невы, тумана и мороза»	238
«Я здесь живу, как инопланетянин»	239
ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ...	—
Мотивы Иоанна Дамаскина	240
«В колючей проволоке нот»	241
«Когда супостат приползёт на коленях».....	—
«Я жила на волшебной горе»	242
«Неужели, неужели это лето, в самом деле?»	243
Хвойный лес	—
«Кровавым варваром с бескровным интеллектом».....	244
Стихотворение, написанное в ночь отсутствия электрического света	245
«Мне было дано, как в кино»	—
2008 год	246
Орешина.....	—
Любимое кино.....	247
Ворон	248
Слава Богу!	249
Пришествие второго утешения	250

«В пору полива, порой сенокоса»	251
«На поле вянет, удушая, сено»	252
«Жена с утра наводит блеск в сарае»	—

СЕРАФИЧЕСКИЙ ВОСТОРГ

Уцелевший парк.....	254
Три песенки для лирического сопрано и волынки	—
«Что-то сад мой никак не навевает»	257
«Он в нагольном тулупе на голое тело»	258
«Маньчжурскими орехами»	259
«Когда снега заполонят»	—
«Что почитать?»	260
«Какой соглядатай бумаги мои озирал?».....	261
«Что-то хочет сказать безъязыкий дубовый листок»	—
«Вы теснились в каморке на съёмной квартире?»	262
Молитва	263
«Пора уже писать без дураков»	—
«А время как свистит, луну уж обкусали»	264
Греческая урна.....	—
«Когда кочевник оседает».....	265
«На nive снисходительных прогнозов»	266
В возрасте Шарлотты.....	—
«Как молился Достоевский»	268
Фисгармония	269
«Сама себя за Гоголя ревную».....	271
Москва, как много... ..	—
Другая дисциплина.....	272
«В окольный путь я вышла в час рассвета»	273
«Мой подстрочник Томас Манн»	274
«Над пропастью, на самой крайней кромке»	—
«Нет слова в словаре родной земли»	275
«Когда шмели родной земли»	—
«Благодарна щенку, что не знает»	276
«Сдержанность и серьёзность чужды нашим местам»	—
«В нашей мирной долине случаются бури»	277
ЛАМИЯ (<i>Повесть</i>).....	278
Объяснительная записка	302
СКАЗАНИЕ О ГИЛЬГАМЕШЕ	308

Художественное издание

Фроловская Татьяна

СЕРАФИЧЕСКИЙ ВОСТОРГ

Избранное

Редактор *И. Туманова*

Художественный редактор *А. Сланова*

Технический редактор *Л. Садыкова*

Компьютерная верстка *З. Муширова*

Государственная лицензия №0000001 выдана издательству
Министерством образования и науки Республики Казахстан
7 июля 2003 года

ИБ № 6320

Подписано в печать 21.06.22. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офсетная
Гарнитура “SchoolBook Kza”. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,0.
Усл. кр.-отт. 21,5. Уч.-изд. л. 8,86. Тираж 3000 экз. Заказ №

Издательство “Мектеп”, 050009, г. Алматы, пр. Абая, 143

Факс: 8(727) 394-37-58, 394-42-30

Тел.: 8(727) 394-41-76, 394-42-34

E-mail: mektep@mail.ru

Web-site: www.mektep.kz